

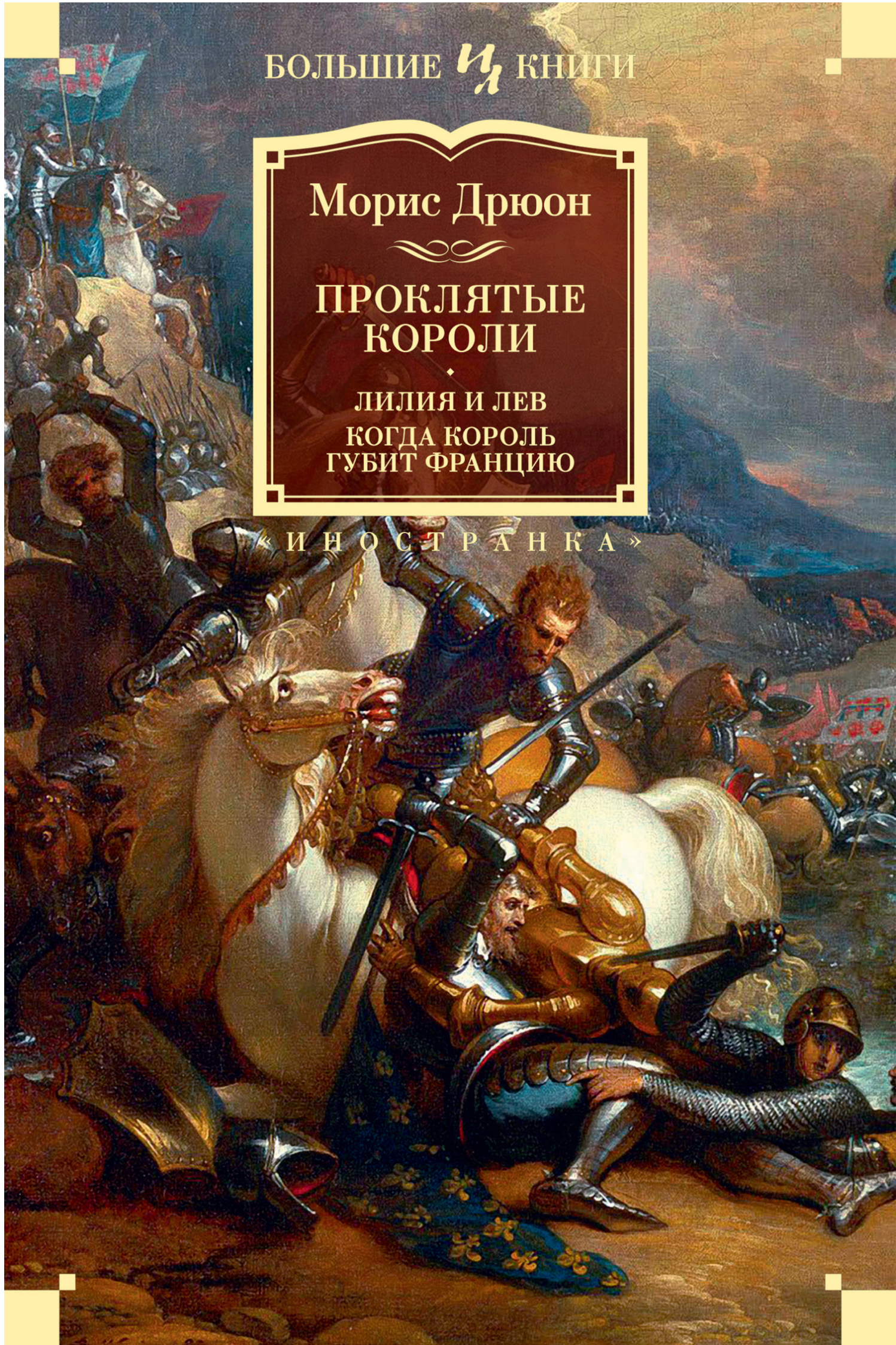
БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Морис Дрюон

ПРОКЛЯТЫЕ  
КОРОЛИ

ЛИЛИЯ И ЛЕВ  
КОГДА КОРОЛЬ  
ГУБИТ ФРАНЦИЮ

«ИНОСТРАНКА»





Иностранная литература. Большие книги

Морис Дрюон

**Проклятые короли: Лилия и лев.  
Когда король губит Францию**

«Азбука-Аттикус»

1966, 1977

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

## **Дрюон М.**

Проклятые короли: Лилия и лев. Когда король губит Францию /  
М. Дрюон — «Азбука-Аттикус», 1966, 1977 — (Иностранная  
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-23560-1

Создавая свой цикл о невероятной эпохе, которая определила будущее прекрасной Франции, Морис Дрюон кропотливо работал в Национальном архиве, исследуя древние документы. Его грандиозный исторический цикл «Проклятые короли» завершается романами «Лилия и лев» и «Когда король губит Францию» – повествованиями о непомерных амбициях и неизбежном крахе. На престол Англии восходит Эдуард III, сын Изабеллы Французской, который отправляет на виселицу любовника своей матери Роджера Мортимера, а ее саму удаляет от королевского двора. Но это лишь начало: по подстрекательству Робера Артуа, изгнанного из Франции за подделку документов, Эдуард III заявляет претензии на французский престол – и так начинается Столетняя война. А в финальном романе семитомной саги словоохотливый кардинал Эли Перигор рассказывает о том, как пали сильные: война истощает Францию, король Иоанн II Добрый задумал дать англичанам решающее сражение близ Пуатье, и это становится катастрофой и для него, и для страны. В обстановке дворцовых интриг, кровавых расправ и переворотов потомки Филиппа IV Красивого, некогда проклятые взошедшим на костер Великим магистром ордена тамплиеров Жаком де Моле, губят прежде могущественную и богатую страну. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-23560-1

© Дрюон М., 1966, 1977  
© Азбука-Аттикус, 1966, 1977

## Содержание

Лилия и лев	7
Часть первая	7
Глава I	7
Глава II	12
Глава III	17
Глава IV	22
Глава V	31
Глава VI	38
Часть вторая	44
Глава I	44
Глава II	49
Глава III	53
Глава IV	55
Глава V	60
Глава VI	64
Глава VII	67
Глава VIII	71
Глава IX	77
Часть третья	80
Глава I	80
Глава II	87
Конец ознакомительного фрагмента.	93

# Морис Дрюон

## Проклятые короли: Лилия и лев. Когда король губит Францию

Maurice Druon

LE LIS ET LE LION

Copyright © 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales

QUAND UN ROI PERD LA FRANCE

Copyright © 1977 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales

Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates

© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 1979

© Г. А. Соловьева, историко-биографическая справка, 2021

© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

\* \* \*

В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами трагедии – дело рук посредственностей. В начале XIV века Франция была наиболее могущественным, самым густонаселенным, самым жизнедеятельным, самым богатым государством во всем христианском мире... Почему же рухнула эта держава? Что так круто повернуло ее судьбу?  
*Андре Моруа*

## Лилия и лев

*Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Мадлен Мариньяк за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.*

**М. Д.**

*Главное в политике – стремление к захвату и удержанию власти; и, следовательно, тут требуется воздействовать на умы принуждением или обманом... Политик в конечном счете всегда бывает принужден прибегать к фальсификации.*

**Поль Валери**

## Часть первая Новые короли

### Глава I Бракосочетание в январе

Вот уже два часа подряд из всех городских приходов, и с левого, и с правого берега реки, из Сент-Дениса, из Сент-Катберта, из Сент-Мартин-и-Грегори, из Сент-Мэри-Синиор и Сент-Мэри-Джуниор, с Боен и с улицы Дубильщиков – отовсюду, со всех сторон тянулся йоркский люд, текли бесконечные вереницы зевак к Вестминстеру, к этому гиганту-собору с еще не достроенным западным порталом, к этой вытянутой в длину громаде, царившей с вершины холма над всей округой.

На Стоунгейт и на Дингейт, на двух кривых улочках, выходивших к Ярду, получился настоящий затор. Даже неунывающие мальчишки, взгромоздившиеся на каменные тумбы, видели на площади одни лишь головы, головы, сотни и тысячи голов. Горожане, торговцы, почтенные матроны с целыми выводками ребятишек, калечные на костылях, служанки, ремесленники, клирики в своих капюшонах, солдаты в кольчугах, нищие в жалких отрепьях – все смешалось, как соломинки в копне сена. Проворные пальцы воришек очищали карманы зевак, собирая жатву вперед на целых полгода. Из окон, как гроздья, свешивались головы.

Среди бела дня напoлз откуда-то, словно дым, серый влажный полумрак, зябкая мгла, плотный, как вата, туман, окутавший огромный костяк собора, тысячи шлепавших по грязи зевак. Люди сбивались плотнее, лишь бы сохранить драгоценное тепло.

24 января 1328 года. Здесь, в соборе, его преосвященство Уильям Мелтон, архиепископ Йоркский и примас Англии, сочетал браком короля Эдуарда III, которому не было еще и шестнадцати, с мадам Филиппой Геннегау, его троюродной сестрой, которой недавно исполнилось четырнадцать.

Некуда было яблоку упасть в соборе, где собралась вся высшая знать – государственные сановники, высшее духовенство, члены парламента да еще пять сотен рыцарей и сотня шотландских дворян в клетчатом одеянии, уполномоченных не только представлять Шотландию на брачной церемонии, но заодно и подписать мирный договор. Вот-вот должна была начаться торжественная месса, и по этому случаю был приглашен хор в сто двадцать певчих.

Но первая часть церемонии – собственно говоря, само бракосочетание – происходила перед южным порталом, на паперти собора и на виду собравшегося народа, согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии<sup>1</sup>.

Алый бархат балдахина, воздвигнутого на паперти, отсырел; взбухали влажные полосы оседавшего мельчайшими каплями тумана на епископских митрах; мокрые меха липли к плечам королевской родни, сгрудившейся вокруг юной четы.

– Here I take thee, Philippa, to be my wedded wife, to have and to hold at bed and at board... – Беру тебя, Филиппа, в законные жены, дабы иметь тебя при себе на ложе своем и у очага своего...

Слова клятвы произносил безусый юнец с мальчишески пухлыми губами, и однако голос шестнадцатилетнего короля поразил присутствующих силой, чистотой и какой-то особо выразительной звучностью. Поразил он и мать Эдуарда III – королеву Изабеллу Французскую, и мессира Иоганна Геннегау, дядю новобрачной, и всех вельмож, и среди них графа Эдмунда Кентского и Норфолкского и графа Ланкастерского, по прозвищу Кривая Шея, главу Регентского совета и королевского опекуна, стоявших в первом ряду.

– ...for fairer, for fouler, for better, for worse, in sickness and in health... – ...в красоте и убожестве, в счастье и несчастье, в болезни и в здравии...

Шепот, стоявший над толпой, вдруг смолк. Будто круговая волна тишины омыла всю площадь, и лишь голос короля раздавался над тысячами голов, юный, чистый голос, слышимый в самых дальних уголках площади. Неторопливо произносил король слова обета, выученного им наизусть еще накануне, но чудилось, будто рождаются они у всех на глазах прямо из сердца, так проникновенно звучало каждое слово, так он «обдумывал» каждую священную формулу, дабы вложить в нее самый сокровенный и самый заветный смысл. Казалось, он творит молитву, ту молитву, что не повторяют дважды, а творят ее лишь один-единственный раз на всю жизнь.

И устами этого юноши говорила душа зрелого мужа, человека, с открытыми глазами принимающего на себя обет перед лицом Неба, правителя, сознающего свою роль посредника между Богом и народом. Новый король брал родных, близких, важных сановников, баронов, прелатов, жителей города Йорка и всей Англии в свидетели своей любви к королеве Филиппе.

Пророки, ревностно служащие Господу своему, духовные вожак народа, сильные своей одержимостью, умеют, как никто, заразить толпу своей верой. Публично выраженная любовь также наделена этим свойством, чувства одного человека способны сплотить людей в едином порыве.

Не было среди собравшихся у собора ни одной женщины, которая, независимо от возраста, будь то счастливая новобрачная или обманутая жена, вдова, девица, дряхлая бабка, не поставила бы себя сейчас на место невесты, и не было ни одного мужчины, не отождествлявшего себя в эти минуты с юным королем. Эдуард III сочетался с вечно женственным, с жен-

---

<sup>1</sup> ...согласно древнему ритуалу и обычаям Йоркской епархии. – Церковь никогда не навязывала жесткую или единообразную форму обряду бракосочетания и скорее удовлетворялась частными обычаями. Разнообразие ритуалов и терпимость церкви по отношению к ним основывается на том факте, что брак по сути есть договор между индивидами, а также таинство, священнослужителями которого друг для друга являются сами брачующиеся. В первоначальных христианских церквях присутствия священника и даже любого свидетеля при этом обряде вовсе не требовалось. Благословение стало обязательным лишь после декрета Карла Великого. До реформы Трентского собора (XVI в.) обручение в силу того, что является обязательством, имело почти такое же значение, как и само бракосочетание. В каждой области были свои особые обычаи, которые могли варьироваться от епархии к епархии. Так, херефордский ритуал отличается от ритуала йоркского. Но обмен обетами, составлявший собственно таинство, происходил обычно прилюдно, вне церкви. Именно таким образом король Эдуард I женился на Маргарите Французской в сентябре 1299 г., у врат Кентерберийского кафедрального собора. Существующее в наши дни правило держать во время церемонии бракосочетания двери церкви открытыми (несоблюдение которого может даже стать причиной аннулирования брака) – пережиток как раз этой традиции. Брачный ритуал архиепископства Йоркского имел некоторые аналогии с ритуалом Реймса, а именно в том, что касалось последовательного надевания кольца на четыре пальца, но в Реймсе этот жест сопровождался следующей формулой: Этим кольцом церковь велит, Чтобы наши два сердца в одно слились Истинной любовью, праведной верой; Того ради тебя обязую.



ской половиной своих подданных, и казалось, само королевство единодушно выбрало ему в подруги Филиппу. Все грезы юности, все разочарования зрелости, все сожаления старости о несбывшихся надеждах влеклись к молодой чете, подобно дару, приносимому каждым сердцем. Нынче вечером тьму улиц прорежет сияние этих молодых глаз, и даже старые супружеские пары, уже давно живущие хоть и бок о бок, но каждый сам по себе, возьмутся после ужина за руки.

И если с давнишних времен народ всегда стремится поглазеть на королевскую свадьбу, то движет людьми одно желание – пережить если не прямо, то хоть косвенно минуты этого счастья, ибо, вознесенное на такую высоту, оно кажется совершенным.

– ...till death us do part... – ...пока не разлучит нас смерть...

У каждого при этих словах перехватило горло; вся площадь испустила долгий вздох, вздох грустного удивления, почти осуждающий вздох. Нет, негоже в такие минуты даже поминать смерть: не может быть, чтобы этим двум столь юным существам была уготована общая участь, даже помыслить трудно, что и они тоже смертны.

– ...and thereto I plight thee my troth... – ...и во всем этом я даю тебе свою клятву.

Юный король чувствовал взволнованное дыхание толпы, но не бросил туда взгляда. Его светло-голубые, почти серые глаза под длинными ресницами были устремлены на эту рыженькую пухленькую девочку, всю в бархате и покрывалах, которой он приносил свою клятву.

Ибо Филиппа отнюдь не походила на принцессу из волшебной сказки, даже хорошенькой ее трудно было назвать. Как у всех Геннегау, черты у нее были расплывчатые, нос чуть вздернутый, шея коротковата и притом все лицо в веснушках. Ни в повадках, ни во всем облике не проглядывало особого изящества, зато она была совсем простенькая и даже не пыталась придать себе величественный вид, что было бы ей вовсе не к лицу. Не будь на ней этого королевского наряда, ее трудно было бы отличить от любой рыженькой девушки, ее ровесницы: таких пухленьких рыженьких девочек сотни, если не тысячи во всех северных странах Европы. Она была избранницей судьбы и Господа Бога, но, в сущности, ничем, буквально ничем не отличалась от всех прочих женщин, чьей королевой ей суждено было стать. Любая рыженькая пухленькая девица чувствовала себя польщенной и как бы поднявшейся ступенью выше по иерархической лестнице.

Сама Филиппа, взволнованная до дрожи, не подымала век, словно не в силах была выдержать устремленный на нее пристальный взгляд своего супруга. Все, что произошло с ней, было чересчур прекрасно. Сколько вокруг нее корон, сколько митр, а эти рыцари, а эти дамы, которых она успела заметить внутри собора, стоявшие в ряд за огромными свечами, как души избранных в раю, и вся эта толпа на площади... Королевой, она будет королевой, и избрана она по любви!

О, как же она будет холить, угождать, боготворить этого белокурого красавца-принца, у которого такие длинные ресницы, такие тонкие руки, который каким-то чудом появился в их Валансьенне полтора года назад, прибыл туда вместе с изгнанницей-матерью, приехавшей к ним просить помощи и приюта! Родители посылали детей в сад поиграть – он влюбился в нее, а она в него. А теперь он стал королем, но он ее не забыл. Какое же это счастье – отдать ему всю свою жизнь без оглядки! Одного только она боялась – не такая уж она хорошенькая, чтобы ему нравиться и впредь, и не такая уж ученая, чтобы быть ему помощницей.

– Протяните, мадам, вашу правую руку, – обратился к ней архиепископ-примас.

Выпростав из-под длинного бархатного обшлага свою пухлую ручку, Филиппа решительно протянула ее ладонью вверх, растопырив пальчики.

Эдуард с восторгом взглянул на эту розовую живую звездочку, вверявшуюся ему.

С блюда, которое держал второй прелат, архиепископ взял плоское золотое кольцо с рубином, только что освященное им, и вручил королю. Кольцо тоже было мокрое на ощупь, как и

все, к чему только ни прикасался в эту погоду человек. Потом архиепископ бережным движением соединил руки брачующихся.

– Во имя Отца... – произнес Эдуард, надевая кольцо на кончик большого пальца Филиппы... – Во имя Сына... во имя Духа Святого... – договорил он, примеряя ей кольцо на кончик указательного, а затем среднего пальца.

Наконец он надел ей кольцо на безымянный палец и промолвил:

– Аминь!

Она стала его женой.

Как и любая мать, присутствующая на свадьбе сына, королева Изабелла прослезилась. Она принуждала себя молить Бога о ниспослании ее сыну всякого счастья, но не могла, она думала о своей собственной участи и мучилась этой думой. Безжалостное время шло, и вот она уже не первая – ни в сердце сына, ни в королевской семье. Нет, понятно, ей нечего особенно опасаться этой похожей сейчас на пирамиду бархата и расшитых тканей девчушки, которую судьба послала ей в невестки, нечего опасаться ни за свое влияние при дворе, ни соперничества в красоте.

Прямая, тонкая, вся золотистая, с прекрасными косами, уложенными по обе стороны ясного лица, Изабелла в свои тридцать шесть лет выглядела тридцатилетней. Даже нынче утром зеркало, в которое она долго гляделась, прилаживая корону для брачной церемонии, даже зеркало рассеяло ее сомнения. И однако ж, с этого дня она уже не просто королева, а королева-мать. Как же так получилось, что все произошло слишком быстро? Как получилось, что двадцать лет жизни, чреватой столькими бурями, бесследно поглотило время?

Она вспомнила о своей собственной свадьбе, состоявшейся ровно двадцать лет назад, тоже, как и эта, в конце января и тоже в туманный день, но во французском городе Булони. Она тоже шла к алтарю, веря в счастье, она тоже произносила клятвы супружеской верности, произносила их от всей души. Могла ли она тогда знать, за кого ее выдают замуж во имя интересов двух королевств? Могла ли она знать, что в обмен на любовь и преданность, которые она несла в сердце своем, ее ждут лишь унижения, ненависть и презрение, что на супружеском ложе ее заменят, нет, даже не любовницы, а королевские фавориты, жадные, постыдные люди, что приданое ее расхитят, имущество ее отберут, что ей самой придется бежать на чужбину, дабы спасти свою жизнь, находящуюся под угрозой, поднять войска, дабы свалить того, кто надел ей на палец обручальное кольцо?

Ах, как же повезло этой девочке Филиппе, она не просто вступила в брак, она любима!

Только лишь первые узы любви могут быть полностью чисты и полностью счастливы. И если, на вашу беду, было не так, ничем их не заменить. Сколько бы вы ни любили потом, никогда любовь не будет столь совершенной в своей чистоте; пусть даже она крепка, как мрамор, все равно в жилах ее струится не живая алая кровь, а уже иссохшая кровь минувшего.

Королева Изабелла перевела взор на Роджера Мортимера, барона Уигморского, своего любовника, на того человека, который благодаря ей, но и благодаря самому себе единовластно правил Англией от имени юного короля. И в ту же самую минуту он поднял на нее глаза и, скрестив руки на своем роскошном одеянии, сурово взглянул на нее из-под нахмуренных бровей.

«Догадался, о чем я думаю, – решила про себя Изабелла. – Ну что это за человек, только на миг отвлечешься мыслью от него, и он тут же дает вам понять, что вы совершили чуть ли не преступление!»

Ей хорошо был известен недоверчивый нрав Мортимера, и она улыбнулась, желая его успокоить. Что ему надо еще, если и так он владеет всем? Живут они, словно бы состоят в законном браке, словно муж и жена, хотя она – королева Англии, хотя он женат, и вся страна знает об их связи, впрочем вполне открытой. Она сумела добиться того, что в его руках сосредоточена вся власть. На все должности Мортимер посадил своих ставленников, роздал им лен-

ные владения бывших фаворитов Эдуарда II, а Регентский совет лишь утверждает его решения. Мортимер даже смог вырвать у нее согласие на то, чтобы ее свергнутого с престола супруга лишили жизни. И она знала, что с тех пор кое-кто зовет ее Французской волчицей! Но не может же он помешать ей в день бракосочетания старшего сына вспомнить своего убитого супруга, тем паче что палач Джон Мальтраверс, недавно ставший сенешалем Англии, находится здесь собственной персоной, среди высшей знати, и, видя его длинную зловещую физиономию, невольно думаешь о совершенном им преступлении.

Не одну только Изабеллу коробило его присутствие: Джон Мальтраверс, зять Мортимера, был приставлен охранять покойного короля, и скоропалительное его повышение слишком явно свидетельствовало о том, за какие такие услуги он был произведен в сенешали. По официальной версии, Эдуард II скончался естественной смертью. Но кто при дворе верил этой басне?

Сводный брат покойного короля, граф Кент, нагнулся к своему кузену Генри Ланкастеру Кривая Шея и шепнул ему на ухо:

– На мой взгляд, по нынешним временам только через цареубийство и можно с полным правом войти в королевскую семью...

Эдмунд Кент совсем продрог. По его мнению, брачная церемония слишком затянулась, йоркская служба слишком сложна. Ну почему бы не сыграть свадьбу в часовне Тауэра или в каком-нибудь из королевских замков, так нет – воспользовались подходящим случаем и устроили самую настоящую кермессу для простолюдинов! Как и при всяком скоплении народа, ему становилось не по себе. А тут еще этот Мальтраверс с его зловещей физиономией... Ведь это же просто непристойно, чтобы человек, отправивший на тот свет папашу, присутствовал, да еще затесавшись среди высшей знати, на свадьбе сына.

Кривая Шея – голова у него свисала на правое плечо, откуда и пошло это прозвище, – шепнул кузену:

– Именно совершив грех, легче всего войти в королевскую семью. Наш друг – первое тому доказательство...

Под словами «наш друг» он подразумевал Мортимера, чувства англичан к которому сильно изменились за эти полтора года, с того времени, когда он во главе армии королевы высадился в Англии и был встречен народом как освободитель.

«В конце концов, рука, безропотно исполняющая приказы, идущие из чужой головы, не намного хуже этой головы, – подумал Кривая Шея. – И само собой разумеется, Мортимер, а вместе с ним и королева Изабелла виновны во всем случившемся куда больше, чем Мальтраверс. Да мы все в этом отчасти повинны, все мы подбросили свой груз на чашу весов, когда речь шла о лишении Эдуарда II престола. А раз так, иначе кончиться и не могло».

Тем временем архиепископ вручил молодому королю три золотые монеты, на аверсе которых были вычеканены гербы Англии и Геннегау, а на реверсе – бутоны роз, ибо цветок этот служит эмблемой супружеского счастья. Монеты эти именовались «динарием брачующихся», как символ того наследства, которое муж оставляет своей жене в виде денежных доходов, земель и замков. Все эти дары были точно определены и записаны, так что дядя Филиппы мессир Иоганн Геннегау вздохнул с облегчением, ибо ему до сих пор не вернули долг в пятнадцать тысяч ливров, которые обязались выплатить как жалованье его коннице во время Шотландского похода.

– Припадите к ногам вашего супруга, дабы он вручил вам динарии, – обратился архиепископ к новобрачной.

Все жители Йорка, затаив дыхание, нетерпеливо ждали этой минуты, каждому было любопытно знать, будет ли соблюден их местный обычай до конца, ибо то, что пристало последней подданной королевы, пристало и самой королеве.

Но никто и предвидеть не мог, что мадам Филиппа не только преклонит колена, но в безудержном порыве любви и благодарности еще и обхватит обеими руками ноги супруга и

облобызает колени того, кто сделал ее королевой. Выходит, что она, эта пухленькая фламандка, повинувшись голосу сердца, способна еще и сама приукрасить древний обычай!

Толпа встретила ее жест громкими кликами одобрения.

– Думаю, они будут счастливы, – сказал Кривая Шея, обращаясь к Иоганну Геннегау.

– Народ ее полюбит, – сказала Изабелла подошедшему к ней Мортимеру.

Но в душе королевы-матери кровоточила рана: все эти клики народные обращены не к ней. «Теперь королевой стала Филиппа, – думала она. – Мое время прошло. Да, но теперь, возможно, я заполучу Францию...»

Ибо неделю тому назад гонец в одеянии, украшенном лилиями, прискакал в Йорк, дабы сообщить, что последний ее брат, король Франции Карл IV, при смерти.

## Глава II Труды ради короны

Король Карл IV слег в первый день Рождества. И уже на Богоявление ученые лекари заявили, что надежды нет. Неужели из-за этой изнуряющей лихорадки, этого кашля, выворачивающего все нутро, из-за этого кровохарканья? Ученые лекари только плечами пожимали, как бы говоря: тут мы бессильны. Ясное дело, проклятие! Проклятие, что пало на голову потомков Филиппа Красивого. А от проклятия нет ни лекарств, ни исцеления. И королевский двор и народ полностью разделяли это мнение лекарей.

Людовик Сварливый скончался в двадцать семь лет, правда, тут не обошлось без преступного деяния. Филипп Длинный умер в двадцатидевятилетнем возрасте, напившись в Пуатье воды из отравленного колодца. Карл IV продержался до тридцати трех лет – это уже был предел. Всякому известно, что те, на чью голову пало проклятие, не могут перешагнуть тридцати трех лет – возраста Иисуса Христа нашего!

– А теперь, возлюбленный брат мой, пришел наш черед взять бразды правления, вести королевство твердой рукой, – внушал граф Бомон, он же Робер Артуа, своему кузену и шурина Филиппу Валуа. – И на сей раз, – добавлял он, – мы не дадим себя обскакать моей тетушке Маго. Впрочем, у нее и зятьев-то не осталось, так что некого ей сажать на французский престол.

Оба кузена пользовались отменным здоровьем. Робер Артуа оставался все тем же колосом, и по-прежнему ему, переступая порог, приходилось нагибать голову, чтобы не расквасить лоб о притолоку, и по-прежнему он в свои сорок один год мог при желании повалить на землю быка, ухватив его за оба рога. Непревзойденный мастер судопроизводства, крючкотворства и интриг, он в течение двадцати лет неоднократно доказывал свои ловкость и умение, и начав смуту в своих владениях, и развязав войну в Гиени, да, впрочем, разве все перечтешь! Плодом его неустанных трудов отчасти явилось и разоблачение скандальной тайны Нельской башни. И если королева Изабелла вкупе с ее любовником лордом Мортимером сумела собрать в Геннегау армию, поднять Англию и свергнуть Эдуарда II, то и тут не обошлось без Робера. А что руки у него были запятнаны кровью Маргариты Бургундской, то ему на это наплевать. Еще совсем недавно в Королевском совете его голос легко заглушал нерешительное бормотание слабовольного Карла IV.

Филиппа Валуа, который был на шесть лет моложе Робера, природа не наградила столь многочисленными дарами. Но он был высок и крепок, широкогруд, повадки имел благородные и, когда поблизости не оказывалось Робера, тоже производил впечатление богатыря, чему немало способствовала его рыцарственная осанка, располагавшая к нему сердца людей. Но главным козырем Филиппа была добрая память о его отце, о прославленном Карле Валуа, самом отчаянном смутьяне и искателе приключений, какие только встречались среди принцев крови, в вечной погоне за призрачными тронами, подстрекателе, правда неудачном, Кресто-

вых походов, но при всем том великом воине, и неудивительно, что сын всячески старался подражать отцу в мотовстве и роскоши.

И хотя до сих пор Филиппу Валуа так и не удалось удивить Европу своими талантами, в него верили. Он блистал на турнирах, которые были подлинной его страстью, – каждый отдавал дань восхищения тому пылу, с каким он бросался на противника.

– Ты будешь регентом, Филипп, я сам за это дело возьмусь, – гнул свое Робер Артуа. – Регентом, а быть может, и королем, если будет на то воля Господня... другими словами, я имею в виду, если только через два месяца моя племянница-королева<sup>2</sup>, а она действительно на сносях, не родит Карлу сына. Бедняжка Карл! Не видать ему своего ребенка, а ведь как он его ждал... Ну пусть даже это будет мальчик, все равно целых двадцать лет ты будешь регентом. А за двадцать лет...

Не dokonчив фразы, он махнул рукой, и жест этот красноречивее слов говорил, что чего только на свете не бывает: и дети мрут как мухи, и часты несчастные случаи на охоте, ибо неисповедимы пути Господни.

– А ты, как я знаю, человек верный, – продолжал гигант Робер, – ты добьешься, чтобы мне наконец вернули мое графство Артуа, которым до сих пор несправедливо владеет эта разбойница, эта отравительница Маго; она заодно присвоила себе и титул пэра, как владелица этого графства. Да ты подумай только, я даже не пэр! Прямо курам на смех! Мне за твою родную сестру, то есть за супругу мою, стыдно!

Филипп дважды клюнул крупным мясистым носом в знак согласия и опустил веки.

– Робер, если я и впрямь буду у кормила власти, ты получишь все, что тебе положено по праву. Можешь смело рассчитывать на мою поддержку.

Самая прочная дружба – это та, что основана на общих интересах и общих трудах ради собственного будущего, тесно связанного с будущим твоего друга.

Робер Артуа, не брезговавший ничем, когда речь шла о деле, взялся съездить в Венсенн, дабы самолично сообщить Карлу Красивому, что дни его сочтены и что не мешало бы ему сделать кое-какие распоряжения, скажем немедленно созвать пэров и представить им Филиппа Валуа как будущего регента. Более того, почему бы не облегчить пэрам выбор и уже сейчас не вручить Филиппу Валуа бразды правления, наделив его всей полнотой королевской власти?

– Все мы смертны, дорогой мой кузен, все смертны, – твердил пышущий здоровьем Робер, и от его тяжелых шагов сотрясало ложе умирающего.

У Карла IV уже не оставалось сил для отказа, и он почувствовал даже облегчение оттого, что с него сняли еще одну заботу. Все его помыслы были направлены на то, чтобы удержать жизнь, отлетавшую прочь с каждым новым вздохом.

Итак, Филипп Валуа получил королевские полномочия и повелел созвать пэров.

А Робер Артуа тут же опять собрался в путь. Сначала к своему племяннику д'Эврё, еще совсем молоденькому – ему только что исполнился двадцать один год, – юноше весьма привлекательной внешности и довольно вялого нрава. Он был женат на дочери Маргариты Бургундской, Жанне Малой, как звали ее по старой памяти, хотя ей уже минуло семнадцать, той самой Жанне, которую после кончины Людовика Сварливого лишили права на французский престол.

И впрямь, к салическому закону прибегли именно из-за Жанны Младшей, дабы отстранить ее от престола, и добились этого без особых хлопот, ибо, памятуя распутство ее покойной матери, не так-то трудно было заподозрить дочь в незаконном происхождении. Но, желая вознаградить ее за потерю, а главное, чтобы утихомирить Бургундский дом, Жанну Младшую признали прямой наследницей наваррской короны. На самом же деле выполнять это обещание

---

<sup>2</sup> ...если только через два месяца моя племянница-королева... – После расторжения своего брака с Бланкой Бургундской (см. предыдущий том «Французская волчица») Карл IV женился последовательно на Марии Люксембургской, умершей при родах, потом на Жанне д'Эврё. Эта последняя приходилась племянницей Филиппу Красивому через своего отца Людовика Французского, графа д'Эврё, а также Роберу д'Артуа через свою мать Маргариту д'Артуа, сестру Робера.



не слишком спешили, и оба последних короля Франции по-прежнему носили титул королей Наваррских.

Если бы Филипп д'Эврё хоть чуточку походил на своего дядюшку Робера Артуа, ему представился бы великолепный случай взбаламутить все французское государство, оспаривая свое право на престол и требуя от имени супруги не одну, а целых две короны.

Но Робер, пользуясь своим влиянием на племянника, в два счета облапошил возможного претендента на французский престол.

– Как только мой зять Валуа будет регентом, получишь ты свою Наварру, племянник, сразу получишь. Я лично поставил Филиппу такое условие – хочешь, мол, моей поддержки, уладь сначала это семейное дело. Быть тебе королем Наварры! А наваррской короной грех пренебрегать, и послушай-ка моего совета: поскорее нацепи ее на себя, прежде чем подымутся споры да дразни. Ибо, скажу тебе на ушко, права твоей супруги малютки Жанны были бы куда неоспоримее, ежели бы ее мамаша почаще отказывала мужчинам! Сейчас такая свара начнется, что тебе без поддержки не обойтись, а мы тебя как раз и поддержим. И не вздумай слушать своего дядюшку герцога Бургундского: он тобой в личных своих целях воспользуется, а кончится все это тем, что вы натворите глупостей. Держись Филиппа Валуа, пускай он будет регентом!

Таким образом, после окончательного отказа от Наварры, Филипп Валуа располагал уже двумя голосами, не считая своего собственного.

Людювик Бурбон был пожалован званием герцога всего несколько недель назад и одновременно получил в удел графство Марш<sup>3</sup>. Он был старшим в королевской фамилии. Если, не дай бог, с назначением регента произойдет нежелательная заминка, Бурбон сам будет оспаривать право на престол, так как многие охотно поддержат прямого внука Людовика Святого. Так или иначе, его слово на Совете пэров будет весить немало. К счастью, этот хромец трусоват. А войти в прямое соперничество с мощной кликой Валуа по плечу только человеку отважному. Да кроме того, его родной сын женат на сестре Филиппа Валуа.

Робер намекнул Людовику Бурбону, что чем скорее он присоединится к ним, тем скорее будут гарантированы на деле его права на земельные угодья и титулы, дарованные на бумаге при предыдущих королях. Вот вам и третий голос.

Не успел герцог Бретонский прибыть из Ванна в свой парижский отель, не успели еще слуги распаковать его сундуки, как перед ним собственной персоной возник Робер Артуа.

– Поддержим Филиппа, а? Ты, я вижу, согласен... Филипп такой благочестивый, такой верный человек, из него наверняка получится хороший король... то есть, я хочу сказать, хороший регент.

Жан Бретонский просто не мог подать свой голос против Филиппа Валуа. Ведь он вступил в брак с сестрой Филиппа, Изабеллой, скончавшейся, правда, в возрасте восьми лет, но узы взаимной привязанности между ним и Филиппом не стали от этого слабее. Для пущей убедительности Робер привел с собой свою матушку Бланку Бретонскую, связанную кровными узами с Жаном Бретонским, дряхлую, ссохшуюся, морщинистую старушку, полную невежду в политических интригах, но зато упрямо отстаивающую любое предложение своего гиганта-сынка. А сам Жан Бретонский меньше пекся о судьбе Франции, чем об интересах своего герцогства. Ну и ладно! Хорошо, пусть будет Филипп, раз все дружно прочтут его в регенты.

Пока что кампания шла, так сказать, в узкой среде зятьев, шуринов и деверей. Кликнули на подмогу Ги де Шатийона, графа де Блуа, который пэром не был, и даже графа Вильгельма Геннегау, кликнули просто потому, что оба они были женаты на сестрах Филиппа Валуа. Бла-

---

<sup>3</sup> ...и одновременно получил в удел графство Марш. – По договору, заключенному в конце 1327 г., Карл IV обменял графство Марш, составлявшее его ленное владение, на графство Клермон-ан-Бовези, которое Людовик Бурбонский унаследовал от своего отца, Робера де Клермона. Именно по этому случаю сеньория Бурбон была возвышена до герцогства.

годаря всем этим широко разветвленным родственным связям семья Валуа уже ныне становилась как бы подлинной королевской фамилией.

Как раз сейчас Вильгельм Геннегау выдал свою дочку за молодого английского короля – что ж, неплохо, никто и не собирается возражать, даже есть надежда, что рано или поздно брак этот послужит к семейной выгоде. Однако же Вильгельм рассудил послать на бракосочетание дочери своего младшего брата Иоганна, дабы тот представлял дом Геннегау, а сам предпочел сидеть в Париже, где все кипит накануне важнейших событий. Ведь уж давным-давно Вильгельм Добрый мечтал, чтобы землю Блатон, вотчину французской короны, клином врезавшуюся в его государство, уступили ему. Хорошо, хорошо, как только Филипп станет регентом, отдадут ему этот Блатон за безделицу, за чисто символический выкуп.

А Ги де Блуа был чуть ли не последним из баронов, за которыми еще сохранилось право чеканить свою монету. На его беду и как бы в насмешку над этой привилегией, денег у него не было, и с каждым днем он все больше запутывался в долгах.

– Ги, дражайший мой родич, выкупим мы твое право на чеканку монеты, выкупим. Первым делом об этом позаботимся.

Словом, всего за какую-нибудь неделю Робер проделал воистину геркулесов труд.

– Видишь, Филипп, видишь, – твердил он своему кандидату, – видишь, какую добрую службу сослужат нам все те браки, что в свое время устроил твой отец. Обычно считается, что много дочерей – для родителей беда, а твой батюшка, этот мудрый человек, да упокой, Господи, душу его, сумел ловко пристроить твоих сестричек.

– Верно, – протянул Филипп, – но ведь придется выплатить им то, что недодано в счет приданого. Кое-кому только четвертую часть обещанного дали на руки.

– И начать надо с нашей любимой Жанны, моей супруги, – подхватил Робер Артуа. – Но коль скоро мы сами будем распоряжаться казной...

Труднее оказалось завербовать в ряды сторонников Валуа графа Фландрского – Людовика де Креси Неверского. Ибо зятем он никому не доводился и не требовал ни земель, ни денег. А требовал он отвоевать его родное графство, откуда его с позором изгнали собственные подданные. Пришлось пообещать ему выступить войной против жителей Невера и Креси, чтобы добиться его поддержки.

– Людовик, возлюбленный кузен мой, Фландрию вам вернут, и вернут ее силою оружия, наше слово тому порукой!

После всех этих подвигов Робер, думавший обо всем и ничего не забывавший, снова помчался в Венсенн – надо было поторопить Карла IV подписать завещание.

От Карла осталась лишь тень короля, выхаркивающего с кровью последние лохмотья легких.

Но даже на смертном одре умирающий вспоминал о Крестовом походе, вернее, о проекте Крестового похода, мысль о котором в свое время вбил ему в голову его дядя Карл Валуа. Из года в год проект этот претерпевал видоизменения, церковные субсидии использовались совсем на иные цели, а потом скончался и сам Карл Валуа... И эта злая болезнь, подтачивающая его, Карла IV, уж не кара ли она за то, что он не сдержал своего слова, нарушил священный обет? Кровь, хлеставшая из горла на белоснежное белье, напоминала ему тот алый крест, который он так и не успел нашить на свою мантию.

И теперь в надежде умиловить Небеса и выторговать себе еще хоть несколько недель жизни он приказал добавить в конце завещания свою волю касательно Святой земли. «Ибо намерением моим было самому идти туда при жизни, – продиктовал он писцу, – и, ежели того не случится при жизни моей, повелеваю отпустить из казны пятьдесят тысяч ливров на первый же всеобщий поход, когда таковой начнется».

Подобная сумма проделала бы смертельную брешь во французской казне, особенно сейчас, когда денег не хватало на самые неотложные, самые необходимые нужды. Робер чуть было

не задохнулся от злости. Этот упрямый болван Карл помирает, а от своих дурацких затей отречься не хочет.

Его просто-напросто попросили отказать в завещании по три тысячи ливров канцлеру Жану де Шершемону, а также маршалу де Три и мессиру Милью де Нуайе, председателю Фискальной палаты, в награду за их беспорочную службу королевскому дому... и еще потому, что по занимаемым ими должностям они имели право заседать в Совете пэров.

– А коннетаблю? – еле слышно прошептал умирающий.

Робер только плечами пожал. Коннетаблю Гоше де Шатийону стукнуло уже семьдесят восемь, глух он, как тетерев, а добра у него столько, что сам не знает, куда его девать. В такие годы где уж там льститься на золото! Коннетабля из завещания вычеркнули.

Зато Робер с великим тщанием помог Карлу IV составить список лиц, которым поручалось следить за точным выполнением всех пунктов завещания, ибо список этот как бы устанавливал старшинство среди великих мира сего: граф Филипп Валуа во главе списка, потом граф Филипп д'Эврэ и затем, конечно, сам Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже.

Покончив с завещанием, Робер взялся за князей церкви, которых тоже следовало привлечь на свою сторону.

Архиепископ Реймский Гийом де Три издавна был духовным наставником Филиппа Валуа, к тому же Роберу только что удалось убедить короля упомянуть родного брата архиепископа маршала де Три в завещании, и свои три тысячи ливров он получит звонкой монетой. Так что с этой стороны препятствий не предвидится.

Архиепископ Лангрский тоже с давних пор был связан с домом Валуа, и в равной мере ему был предан архиепископ Бовезский, Жан де Мариньи, последний оставшийся в живых брат великого Ангеррана. Былое предательство, бывшие угрызения совести, а также и взаимные услуги – вот те нити, из которых прядутся наипрочнейшие связи.

Оставались вне игры епископы Шалонский, Лаонский и Нуайонский – все трое, как было известно, держали руку Эда Бургундского.

– Ну а что касается этого бургундца, – воскликнул Робер Артуа и даже руки широко развел, – это уж твое дело, Филипп. Мы с ним на ножах, поэтому я тут бессилен. А ты женат на его родной сестре, стало быть, должен и можешь оказать на него воздействие.

Эд IV не был, что называется, орлом по части управления своей Бургундией. Однако он хорошо усвоил уроки своей покойной матушки, герцогини Агнессы, младшей дочери Людовика Святого, и не забыл, как сам он сумел дорого продать свой голос, подав его за Филиппа Длинного, метившего в регенты, за что и получил в те времена разрешение присоединить к Бургундскому графству Бургундское герцогство. Ради такого случая он даже вступил в брак с внучкой Маго Артуа; невеста была на четырнадцать лет моложе своего нареченного, на что он, впрочем, не имел оснований жаловаться теперь, когда его жена достигла возраста, положенного для исполнения супружеских обязанностей.

Прибыв из Дижона, он уединился с Филиппом Валуа. Эд первым делом поставил вопрос о наследственных правах на земли Артуа.

– Стало быть, решено, после кончины Маго графство Артуа переходит к ее дочери, вдовствующей королеве Жанне, а затем к герцогине – моей супруге? Так вот что, дорогой кузен, я особенно настаиваю на этом пункте, ибо мне отлично известно, что Робер зарится на земли Артуа, да он сам об этом на всех перекрестках кричит!

Эти принцы крови отстаивали свои права на наследство, рвали друг у друга из рук французские земли с таким же жгучим недоверием, с такой же алчностью, с какой в нищенской семье делят невестки после покойницы-свекрови чашки и постельное белье.

– Суд дважды подтверждал в своем решении, что Артуа принадлежит графине Маго, – ответил Филипп Валуа. – Если в пользу Робера не найдется новых веских доказательств, Артуа, дорогой брат, отойдет вашей супруге.

– И вы не видите к тому никаких препятствий?

– Ни единого.

Вот таким-то образом благороднейший Валуа, доблестный рыцарь, герой турниров, дал двум своим кузенам два исключаящих друг друга обещания.

Впрочем, даже в вероломстве он желал остаться честным и передал Роберу свою беседу с Эдом, каковую тот не преминул одобрить.

– Самое существенное, – заявил он, – получить голос бургундца, и нам какое дело, если он вбил себе в голову, будто имеет права на мое графство, хотя прав у него никаких и нету. Ты ему говорил о новых доказательствах? Ну что ж, чудесно, добудем их, дражайший брат, так что тебе не придется нарушить свою клятву. А раз так, все идет к лучшему.

Оставалось лишь ждать последней и окончательной формальности – кончины короля Карла IV – и молить в душе Господа Бога, чтобы он поскорее призвал его к себе, пока еще не распался этот великолепный союз принцев крови, сплотившихся вокруг Филиппа Валуа.

Младший сын Железного короля отдал Богу душу накануне праздника Сретения Господня, и новость о трауре по усопшему государю распространилась в Париже в то самое утро, когда над всем городом стоял заманчивый аромат горячих блинчиков.

Все, казалось, должно было пройти без сучка и задоринки, строго по плану, тщательно разработанному Робером Артуа, как вдруг на заре того дня, когда предстояло собраться Совету пэров, прибыл из Англии епископ, весьма невзрачный на вид. Устало оглядевшись вокруг, он вылез из забрызганных грязью носилок и поплелся во дворец отстаивать права королевы Изабеллы на французский престол.

## **Глава III**

### **Совет у ложа мертвеца**

Нет уже мозга в черепной коробке, нет уже сердца в грудной клетке, нет кишок в животе. Выпотрошили короля. Еще накануне бальзамировщики кончили трудиться над телом Карла IV. Но так уж ли велика была разница между теперешним Карлом IV и тем, каким был при жизни этот слабый, равнодушный ко всему, бездеятельный государь. Запоздалый ребенок, которого собственная мать звала «гусенком», а то и просто «дурачком», обманутый муж, незадачливый отец, безуспешно пытавшийся обзавестись наследником, для чего трижды вступал в брак, правитель, вечно пляшущий под чужую дудку – сначала своего дядюшки Карла Валуа, потом кого-нибудь из своих многочисленных кузенов, – он был годен лишь на то, дабы утверждать своим присутствием идею королевской власти. Он и сейчас еще ее утверждал.

В дальнем конце огромной залы Венсеннского замка с рядами деревянных колонн покоилась на парадном ложе брэнная его оболочка, облаченная в лазурную королевскую, расшитую геральдическими лилиями мантию и с короной на голове.

Баронам и пэрам, собравшимся в противоположном углу залы, видно было, как при свете бесчисленных свечей поблескивают на его ногах золотые сафьяновые сапожки.

Сейчас Карл IV возглавит свой последний Совет, так называемый «Совет в королевской опочивальне», коль скоро царствование его еще не кончилось: кончится оно официально лишь завтра, в ту самую минуту, когда тело его опустят в усыпальницу Сен-Дени. Робер Артуа еще до начала Совета, пока поджидали запоздавших, взял приезжего из Англии епископа под свое крылышко.

– А сколько времени вы пробыли в пути? Всего двенадцать дней, и это из самого Йорка? Ого, да вы не мешкали в дороге, не служили заутрени да мессы, мессир епископ... такой аллюр впору заядлому наезднику!.. Ну а весело ли сыграли свадьбу вашего юного короля?

– По-моему, да. Впрочем, я на бракосочетании не присутствовал, я уже был в пути, – ответил епископ Орлетон.

– А в добром ли здравии лорд Мортимер? Вот кто надежный друг, лорд Мортимер настоящий друг, и он, заметьте, в те времена, что жил изгнанником в Париже, часто вспоминал о монсеньоре Орлетоне. Рассказывал мне, как вы помогли ему бежать из Тауэра. Я лично принимал его во Франции, и благодаря мне, не скрою, он вернулся в Англию не таким слабым, каким прибыл к нам. Каждый из нас сделал, как говорится, половину дела. А как королева Изабелла? Ах, дорогая моя кузина! Все так же ослепительно красива?

Робер с умыслом тянул время, чтобы не дать Орлетону подойти к другим группкам, помешать ему заговорить с графом Геннегау или с графом Фландрским. Он знал по слухам, каков был этот Орлетон, и не зря не доверял ему. Ведь именно его Вестминстерский двор отрядил в качестве посла к Святому престолу, и он же, как утверждали, был автором знаменитого и весьма двусмысленного послания: «*Eduardum occidere nolite timere bonum est...*»<sup>4</sup>, которым воспользовались Изабелла с Мортимером, чтобы обстрелять убийство Эдуарда II.

Тогда как все французские прелаты явились на Совет в своих митрах, один лишь Орлетон остался в простой дорожной скуфье лилового шелка с горностаевыми наушниками. Робер не без удовлетворения отметил про себя это обстоятельство: когда английский прелат возьмет слово, эта самая дорожная скуфья среди золоченых митр явно умалит авторитет доверенного лица королевы Изабеллы.

– Регентом будет назначен его светлость Филипп Валуа, – шепнул Робер на ухо Орлетону, как бы поверяя великую тайну лучшему своему другу.

Орлетон промолчал.

Вот тут и появилась в проеме двери та самая персона, которую ждали, чтобы открыть заседание Совета. И персоной этой была графиня Маго Артуа, единственная женщина во всем государстве, имевшая право присутствовать на Королевских советах. Здорово она, Маго, постарела: ноги, казалось, еле выдерживали тяжесть дородного тела – шла она, опираясь на палку. Под белоснежно-седыми волосами лицо было каким-то буро-багровым. Она мотнула головой, приветствуя присутствующих, подошла к ложу, окропила святой водой уснувшего и грузно опустилась в кресло рядом с герцогом Бургундским. По всей зале разносилось ее хриплое дыхание<sup>5</sup>.

Архиепископ-примас Гийом де Три поднялся с места, повернулся сначала к телу покойного короля и, не торопясь, осенил себя крестным знамением, потом застыл на миг в молитвенной позе, воздев очи горе, к сводчатому потолку, как бы ожидая вдохновения свыше. Шепоток в зале затих.

– Благородные мои сеньоры, – начал он, – когда прерывается естественный ход наследования и некому передать бразды правления государством, власть вновь обращается к своим истокам, коль скоро королевская власть зиждется на согласии пэров. Такова воля Господа и Святой церкви, которая дает нам всем урок, выбирая из своей среды первосвященника.

Складно говорил монсеньор де Три, будто читал с амвона проповедь. Пэрам и баронам, собравшимся здесь, предстояло решить, кому следует вручить временно бразды правления французским государством, для начала назначить регента, а затем – ибо мудрый обязан предвидеть все, – а затем облечь его королевской властью в том случае, если наибогороднейшая дама Франции, королева, родит дочь, а не сына.

Лучшего среди равных – *rimus inter pares*, – вот кого следует назвать регентом, и при том условии, что он узами крови теснее прочих связан с королевским домом. Разве не при подобных же обстоятельствах пэры – бароны и князья церкви – некогда вручили скипетр самому муд-

---

<sup>4</sup> «Не бойтесь убить Эдуарда, это доброе дело» или «Эдуарда не убивайте, бойтесь недоброго дела» (лат.).

<sup>5</sup> По всей зале разносилось ее хриплое дыхание. – Этот год был для Маго д'Артуа годом болезни. Из счетов ее дома мы узнаем, что ей пришлось пускать кровь на следующий день после этого совета, 6 февраля 1328 г., и еще 9 мая и 19 октября.



рому и самому сильному среди них, герцогу Французскому и графу Парижскому Гуго Капету, основателю славной династии?

– Наш почивший в бозе государь, ныне еще присутствующий среди нас, – продолжал архиепископ, чуть склонив свою митру в сторону парадного ложа, – возжелал просветить и наставить нас, выразив в завещании волю свою, и назвал самого близкого своего родича, христианнейшего и доблестнейшего принца, достойного править нами и вести нас, – его высочество Филиппа, графа Валуа, Анжу и Мэна.

Христианнейший и доблестнейший принц, в ушах у которого от жестокого волнения жужжало и гудело, растерялся, не зная, как ему вести себя в такую минуту. Скромно потупить голову, уныло свесив мясистый нос, значило бы показать присутствующим, что он не слишком-то уверен в своих достоинствах и в своем праве на управление страной. А если он с вызывающе горделивым видом выпрямит стан, чего доброго, оскорбятся пэры. Поэтому он предпочел третье – застыл на месте с неподвижным лицом, уставившись на сафьяновые сапожки усопшего государя.

– Пусть каждый из вас соберется с мыслями и, вопросив свою совесть, выразит свою волю ради всеобщего блага, – закончил архиепископ Реймский.

Монсеньор Адам Орлетон поднялся первым, едва только прозвучали последние слова.

– Я уже спросил свою совесть, – произнес он. – Я прибыл сюда, дабы передать волю английского короля, герцога Гиеньского.

Он уже давно был искушен в таких спорах, где хотя все под рукой и решено заранее, но никто не решается сказать первое слово. Вот он и поспешил воспользоваться этим к своей выгоде.

– От имени моего государя, – продолжал английский прелат, – заявляю, что ближайшая родственница покойного короля Карла Французского – это королева Изабелла, его сестра, и именно посему надлежит ей стать регентшей.

Пожалуй, один лишь Робер Артуа ждал какого-нибудь подвоха со стороны приезжего прелата, все же остальные присутствующие лишились от изумления дара речи. Пока шли предварительные переговоры, никто даже не вспомнил о королеве Изабелле, никто и мысли допустить не мог, что она пожелает предъявить свои права на французский престол. Честно говоря, о ней просто забыли. И вдруг она возникла из северных своих туманов, вызванная к жизни словами невзрачного епископа в скуфье с меховыми наушниками. А есть ли у нее и впрямь какие-то права? Члены Совета тревожно переглядывались, шепотом спрашивали мнение соседа. По всей видимости, все же да, и, если строго придерживаться прямой линии наследования, права у нее есть, но ведь с ее стороны подлинное безумие предъявлять их.

Уже через пять минут в Совете началось нечто невообразимое. Все говорили разом, даже не говорили, а кричали, не обращая внимания на то, что в зале лежит покойник.

Разве король Англии, герцог Гиеньский, который представлен здесь через своего посланца, разве забыл он, что женщины не могут править Францией, ведь такое решение еще не так давно дважды подтвердили пэры?

– Ведь верно, тетушка? – ехидно спросил Робер Артуа графиню Маго, желая напомнить ей их жаркие споры и ссоры по поводу закона наследования, принятого в угоду Филиппу Длинному, зятю графини.

Нет, монсеньор Орлетон ровно ничего не забыл; в частности, не забыл он и того, что герцог Гиеньский не присутствовал лично и не прислал своего представителя – безусловно, потому, что его с умыслом известили слишком поздно, – ни на один из тех Советов пэров, где так называемый салический закон о престолонаследии был применен не совсем правомочно и истолкован слишком расширительно. Естественно, этого никогда не одобрил бы герцог.

Не обладая елейным красноречием монсеньора Гийома де Три, Орлетон говорил по-французски не совсем изящно, прибегал к устаревшим оборотам речи, что в другую минуту и

в другой обстановке могло бы вызвать усмешку на губах присутствующих. Зато он имел незаурядный опыт по части юридических споров и за ответом в карман не лез.

Мессир Миль де Нуайе, советник при четырех французских королях, к месту вспомнивший о салическом законе и сумевший удачно применить его, незамедлительно возразил англичанину.

Коль скоро король Эдуард II присягал на верность королю Филиппу Длинному, он, надо полагать, считал его законным государем и тем самым одобрил закон наследования.

Но Орлетон не пожелал выслушать этого возражения. Да ничуть не бывало, мессир! Отдавая свой верноподданнический долг, король Эдуард II подтверждал этим лишь одно: герцогство Гиеньское – вассальное герцогство в отношении французской короны, и никто этого опровергать не собирается, хотя за прошедшие сто лет следовало бы уточнить подлинные границы этого вассальства. Впрочем, никакого отношения это к закону престолонаследия не имеет. И выясним первым делом, о чем, в сущности, идет спор – о регентстве или о короне?

– Об обоих, об обоих разом, – вмешался епископ Жан де Мариньи. – Ибо справедливые речи держал здесь монсеньор де Три: мудрость обязана предусмотреть все, и негоже нам через два месяца вновь собираться здесь, дабы заводить все те же споры.

Маго Артуа тяжело переводила дух. Ах, как же она досадовала на свое недомогание, на этот постоянный шум в ушах и голове, мешавший сосредоточиться. Ни одно из высказанных здесь предложений отнюдь ее не устраивало. Она враждебно относилась к Филиппу Валуа, ибо поддерживать Валуа значило бы тем самым поддерживать и Робера; столь же враждебно относилась она к Изабелле, ибо до сих пор не угасла еще былая ненависть к английской королеве, в свое время погубившей ее дочерей, разоблачив тайну Нельской башни. Выждав с минуту, она заговорила:

– Если можно короновать женщину, то, уж во всяком случае, не вашу королеву, мессир епископ, а не кого другого, как мадам Жанну Младшую, а регентом при ней будет присутствующий здесь ее супруг, монсеньор д'Эврё, или его дядя, вот он сидит рядом со мной, я имею в виду герцога Эда.

Представители бургундского клана нервно шевельнулись – и герцог Бургундский, и граф Фландрский, и епископ Лаонский, и епископ Нуайонский, даже сам юный граф д'Эврё как-то приосанился.

И чудилось, будто французская корона, подвешенная здесь, под сводами залы, еще колеблется, когда и куда упасть, и каждый невольно в смутной надежде тянул к ней голову.

Филипп Валуа уже давно забыл, что выбрал для себя величественную неподвижность статуи, и показывал знаком своему кузену Роберу Артуа, что пора, мол, вмешаться. Артуа встал во весь свой рост.

– Ну и ну! – проревел он. – Как же это так получилось, что каждый нынче наперегонки спешит отречься от своих же собственных слов. Вот, к примеру, мадам Маго, возлюбленная моя тетушка, теперь уже готова признать за мадам Наваррской...

И он выделил голосом слово «Наваррской», бросив выразительный взгляд на Филиппа д'Эврё, желая напомнить ему их сговор.

– ...как раз те самые права, которые она некогда оспаривала. А благородный епископ английский ссылается на действия короля, при его же помощи низложенного с престола за слабость, нерадение и измену... Да полноте, мессир Орлетон! Как же можно всякий раз перекраивать по-новому закон в угоду той или другой партии? Сегодня он на руку одним, завтра на руку другим. Мы от души любим и уважаем мадам Изабеллу, дорогую нашу родственницу, которой кое-кто из присутствующих здесь помогал и верно служил. Но ее притязания, за которые вы так самоотверженно боретесь, просто неприемлемы. А как ваше мнение, мессир? – закончил он, призывая в свидетели пэров.

В ответ послышался одобрительный гул голосов, и горячее прочих откликнулись герцог Бурбон, граф Блуа, архиепископы Реймский и Бовезский.

Но Орлетон держал про запас еще не одно разящее оружие. Если даже допустить, что речь сейчас идет не только о регентстве, но также, возможно, и о французской короне, если даже допустить, что мы не будем оспаривать принятый ранее закон, в силу коего женщины не имеют права на французский престол, что ж, тогда он поддерживает свои требования не от имени королевы Изабеллы, но от имени ее сына Эдуарда III, единственного потомка мужеска пола по прямой линии от Капетингов.

– Но если женщина не может взойти на престол, то тем паче не может она этот престол передать! – заметил Филипп Валуа.

– Почему же, ваше высочество? Разве французские короли рождаются не от женщины?

Этот ловкий выпад вызвал кое у кого улыбку. А сам великолепный Филипп потерял дар речи. В конце концов, этот невзрачный английский епископ не так уж не прав! Тот весьма туманный обычай, на который ссылались, когда решался вопрос о наследнике Людовика X, с тех пор не применялся. И если рассуждать здраво, то коль скоро три брата сменяли друг друга на престоле, не имея потомства мужского пола, то почему бы теперь на престол не взойти сыну здравствующей ныне сестры этих королей, а не какому-то их двоюродному брату?

Граф Геннегау, до последней минуты бывший на стороне Валуа, призадумался, поняв, какая неожиданная удача может выпасть на долю его дочери.

А старик коннетабль Гоше, с морщинистыми, как у черепахи, веками, приставив ладонь рожком к уху, допытывался у своего соседа Миля де Нуайе:

– О чем это там? Что они говорят?

Слишком сложно и туманно отстаивали все свою правоту, и это его раздражало. Вот уже двенадцать лет, как он твердо держался своего прежнего мнения о правах престолонаследия женщин. И впрямь именно он провозгласил салический закон, сумев объединить вокруг себя пэров и бросив знаменитую фразу: «Негоже лилиям прясть: Франция слишком благородное королевство, чтобы стать угодьем женщин».

Но Орлетон не умолкал, все еще надеясь тронуть слушателей. Он умолял пэров не забывать, что ныне представляется редчайший случай, какой, возможно, никогда более не повторится в веках, – объединить оба государства в единую державу. Ибо именно в этом и заключался его заветный замысел. Конец вечным распрям; конец весьма неопределенным клятвам вассалов на верность своему ленному сеньору; конец войнам в Аквитании, от которых страдают обе страны; конец бессмысленному коммерческому соперничеству, из-за которого кипит вся Фландрия! Единый и неделимый народ по обе стороны моря. Разве вся английская знать не французского корня? Разве при обоих дворах не принят французский язык? Разве многие французские сеньоры не унаследовали угодий в Англии, равно как английские бароны владеют сейчас землями во Франции?

– Что ж, давайте нам Англию, мы не откажемся, – насмешливо заметил Филипп Валуа.

Коннетабль Гоше де Шатийон, приставив ухо прямо к губам Миля де Нуайе, внимательно слушал пересказ речи Орлетона и наливался краской гнева. Как так? Английский король желает стать регентом? А затем ему и корону подавай! Выходит, что он, Гоше, зря потел под беспощадным солнцем Гаскони, зря месил непролазную грязь на севере страны, сражаясь с этими дрянными фламандскими суконщиками, которых всегда поддерживала Англия, значит, зря погибло столько доблестных рыцарей, зря истрачено столько податей и налогов – значит, все это, выходит, ни к чему? Да над ними просто издеваются!

Даже не потрудившись подняться с места, он крикнул хоть и стариковским, но все еще мощным голосом, охрипшим от гнева:

– Никогда Франция не будет английской, и тут уж неважно, идет ли речь об особах мужеского или женского пола, и не время выяснять, передается ли корона через чрево или нет! А

потому Франция не будет английской, что бароны этого не потерпят! За мной, Бретань! За мной, Блуа! За мной, Невер! За мной, Бургундия! Да как вы можете даже слушать такое? У нас есть король, которого завтра предадут земле, это уже шестого на моей памяти, и все они водили под своими знаменами войска против Англии или тех, кого она поддерживала. У того, кто правит Францией, должна течь в жилах французская кровь. И хватит вам слушать такой вздор, да ведь мой конь и тот бы расхохотался...

Он скликал Бретань, Блуа, Бургундию все тем же громким голосом, каким некогда скликал военачальников, готовясь к бою.

– Даю вам по праву старейшего добрый совет: пусть граф Валуа, как самый близкий к трону человек, будет регентом, хранителем и правителем государства.

И он поднял руку, как бы желая подчеркнуть важность своих слов.

– Хорошо сказано! – поторопился одобрить старика Робер Артуа, тоже вскинув свою огромную ручищу и приглашая взглядом сторонников Филиппа последовать его примеру.

Теперь он чуть ли не с раскаянием думал, что по его настоянию старика коннетабля обошли в королевском завещании.

– Хорошо сказано! – хором подхватили за ним герцоги Бурбонский и Бретонский, граф де Блуа, граф Фландрский, граф д'Эврё, епископы, сановники государства и граф Геннегау.

Маго Артуа вопросительно взглянула на герцога Бургундского, но, увидев, что он тоже поднял руку, быстро подняла свою, боясь остаться последней.

Не поднялась только одна рука – рука Орлетона.

Филипп Валуа, вдруг ослабевший от пережитого волнения, твердил про себя: «Дело сделано, дело сделано!» Но размышления Филиппа прервал голос архиепископа Гийома де Три, его старинного духовника:

– Долгих дней регенту французского государства на благо народа и Святой нашей церкви!

Канцлер Жан де Шершемон уже заготовил бумагу, и это означало, что Совет закрывается и споры окончены – оставалось лишь вписать имя. Огромными буквами канцлер начертал: «Всемогущий, благороднейший и грозный сеньор Филипп, граф Валуа» – и пустил бумагу по кругу, дабы каждый мог прочесть этот акт, не только утвердивший Филиппа в звании регента, но и подразумевавший, что, ежели у Карла IV родится дочь, регент станет королем Франции.

Все присутствующие скрепили этот документ своей подписью и личной печатью, все, за исключением герцога Гиеньского, другими словами, представлявшего его монсеньора Адама Орлетона, который отказался это сделать, заявив:

– Никогда не следует отказываться защищать свои права, даже зная, что победы не добиться. Будущее необозримо, и все мы в руке Божьей.

Филипп Валуа, приблизившись к ложу покойного, устался на своего усопшего родича, вернее, на корону, сползшую на восковой лоб, на длинный золотой скипетр, лежащий сбоку в складках мантии, на поблескивавшие при свете свечей сапожки.

Присутствующие решили, что он молится, и все почувствовали невольное уважение к новому регенту.

Робер Артуа подошел к Филиппу и шепнул ему:

– Если бы твой отец видел тебя сейчас, вот бы порадовался, бедняга... Но ждать-то нам еще целых два месяца.

## Глава IV «Король-подкидыш»

В те давно прошедшие времена принцы крови имели особое пристрастие к карликам. Поэтому в бедных семьях считалось чуть ли не счастьем, когда у них рождался уродец: по

крайней мере, можно рассчитывать на то, что в один прекрасный день такого уродца охотно купит какой-нибудь знатный сеньор, а то и сам король.

Ибо карлик – и никто в том даже усомниться не желал – некое промежуточное существо, не то человек, не то комнатная собачонка. Собачонка потому, что на него, как на самого настоящего дрессированного пса, можно надеть ошейник, вырядить в нелепое одеяние, а при случае пнуть его ногой в зад; человек – коль скоро он наделен даром речи и за стол и небольшое вознаграждение охотно согласен играть эту унижительную роль. Он обязан по приказу господина балагурить, скакать на одной ножке, хныкать или лепетать, как малое дитя, любой вздор, даже тогда, когда волосы убелит седина. Он так мал, что хозяин чувствует себя особенно значительным и большим. Его передают по наследству от отца к сыну вместе со всем прочим добром. Он словно бы символизирует своей персоной «подданного», как существо, самой природой предназначенное покоряться чужой воле и вроде бы нарочно созданное, чтобы свидетельствовать о том, что род людской делится на разные колена, причем некоторые из них имеют неограниченную власть над всеми прочими.

Однако в этом умалении были и свои преимущества: самому крохотному, самому слабенькому, самому уродливому уготовано место среди тех, кто привык сладко есть и щеголять в роскошных одеяниях. И равно этому убогому созданию дозволено и даже вменяется в обязанность говорить в глаза своему хозяину – человеку высшей расы – то, что не потерпел бы он ни от кого другого.

То, что каждый, даже искренне преданный человек в мыслях своих адресует порой тому, кто командует им, – все эти потаенные насмешки, упреки, оскорбления – карлик выпаливает вслух, как бы по доверенности от всего клана униженных.

Существует два типа карликов: одни длинноносы, с печальными лицами и украшены двумя горбами – спереди и сзади, другие, напротив, круглолицы, курносы, с великолепно развитым торсом, который посажен на коротенькие кривые ножки. Карлик Филиппа Валуа, Жан Дурачок, принадлежал ко второму типу. Ростом он был не выше столешницы. Носил колпак с бубенчиками, и на плечах его шелкового платьяца тоже были нашиты бубенчики.

Это он как-то сказал Филиппу Валуа, хихикая и кривляясь по обыкновению:

– А знаешь, государь, как тебя зовут в народе? Зовут тебя «король-подкидыш»!

Ибо в Страстную пятницу, 1 апреля 1328 года, мадам Жанна д'Эврё, вдова короля Карла IV, наконец-то разрешилась от бремени. Редкостный в истории случай: никогда еще пол младенца, только что вышедшего из лона матери, не рассматривали с таким вниманием. И, лишь убедившись, что это девочка, присутствующие вздохнули с облегчением, и каждый счел, что сам Господь Бог выразил тем волю свою.

Баронам не пришлось пересматривать решение, принятое в день Сретения Господня. Наспех был собран Совет, где один лишь представитель Англии поднял из принципа свой голос против и где все остальные единодушно возвели на престол Филиппа Валуа.

В свою очередь, вздохнул с облегчением и народ. Казалось, теперь наконец потеряло силу проклятие Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. С древа Капетингов отпала старшая ветвь, да и дала она лишь три жалких, быстро засохших ростка.

В любой семье отсутствие сына всегда считалось бедой или же знаком слабости. А для королевского дома тем паче. То обстоятельство, что все три сына Филиппа Красивого не были способны произвести на свет потомство мужского пола, казалось всем отголоском кары. Теперь древо могло спокойно начать свой рост с корня.

Когда внезапное лихорадочное возбуждение охватывает народы, причины его надобно искать в расположении светил небесных, ибо все другие объяснения тут несостоятельны: такова, например, волна истерической жестокости, вызвавшая Крестовый поход «папушков» и избиение прокаженных, или волна полубредового ликования, какое сопровождало вступление на престол Филиппа Валуа.



Новый король был статен и обладал мужской силой, столь необходимой основателю династии. Его первый ребенок, мальчик, уже достиг возраста девяти лет и отличался крепким сложением; была у него также и дочь, и все знали, ибо из таких вещей двор тайны не делает, что почти каждую ночь новый король восходил на ложе супруги своей Хромоножки, проявляя при этом прежний, не угасший с годами пыл.

Голосом природа наделила его сильным и звучным, не был он ни бормотуном, как его двоюродные братья Людовик Сварливый или Карл IV, ни молчаливником, как Филипп Красивый или Филипп V. Кто мог противиться ему в чем бы то ни было, кого можно было ему противопоставить? Кому бы пришла охота в эти дни веселья, охватившего всю Францию, прислушиваться к голосу десятка явно подкупленных Англией ученых правоведов, пытавшихся, впрочем довольно вяло, обосновать свои возражения против его избрания?

Филипп VI вступил на престол, так сказать, со всеобщего одобрения.

И тем не менее он был король, что называется, на случай, королевский племянник, кузен короля, а таких вокруг трона всегда целая куча; просто человек, которому повезло больше, чем всем прочим его родичам; не король, отмеченный Богом еще при рождении, не король, дарованный свыше, а «король-подкидыш», найденный в тот самый день, когда настоящего короля не оказалось под рукой.

Это словцо, изобретенное на парижских улицах, отнюдь не умалило всеобщего доверия и радости: толпе нравится такими вот насмешливыми словечками выражать свои чувства, что создает иллюзию близости с сильными мира сего. Жан Дурачок, передавая эти слова Филиппу, имел полное право на эту шутовскую выходку, грубость которой он еще подчеркивал, хлопая себя по ляжкам и пронзительно взвизгивая, но, так или иначе, он произнес ключевое слово к целой человеческой судьбе.

Ибо Филипп Валуа, как и всякий выскочка, желал доказать, что он вполне достоин нового сана, доставшегося ему в силу его природных качеств, и вполне соответствует тому образу, какой составили себе люди о подлинном монархе.

И коль скоро король самолично творит суд и расправу, он через три недели после вступления на престол послал на виселицу казначея последнего царствования Пьера Реми, потому что, по словам наветчиков, тот изрядно порастряс государственную казну. А когда вздергивают министра финансов, это всегда приятно толпе, и французы поздравляли друг друга: наконец-то у них такой справедливый король.

Считается обязанностью и долгом каждого государя защищать христианскую веру. Филипп издал эдикт, по которому на богохульников накладывалась двойная пеня и равно усиливалась власть инквизиции. Тем самым он угодил крупному и мелкому духовенству, а также дворянчикам и ханжам: какой же у нас благочестивый король!

Обязан государь также оплачивать оказываемые ему услуги. А сколько услуг потребовалось Филиппу, чтобы выборы в Совете пэров прошли гладко! Но король в равной мере обязан зорко следить за тем, чтобы те, кто считался верным блюстителем общественного блага при его предшественниках, не перешли бы в стан врагов. Вот почему, коль скоро почти все бывшие сановники и высшие должностные лица остались на своих прежних местах, пришлось срочно создавать новые должности или назначать на старые еще по одному человеку из тех, кто поддержал новое правление, и удовлетворять просьбы лиц, способствовавших восшествию Валуа на престол. А так как дом Валуа уже давно жил на королевскую ногу, то теперь, когда было бы просто стыдно отстать от роскошного образа жизни бывшей династии Капетингов, началась оголтелая погоня за должностями и бенефициями. Король у нас человек щедрый!

Государь, наконец, обязан заботиться о благосостоянии своих подданных. И Филипп VI с маху уменьшил, а в иных случаях даже совсем отменил налоги, введенные при Филиппе IV и Филиппе V, на коммерческие операции, на рыночную торговлю и на торговые сделки с чуже-

странцами – подать, которая, по мнению тех, коих ею облагали, лишь подрывала коммерцию и рынок.

Ох, до чего же хорош у нас король, утихомиривший назойливых сборщиков податей в пользу казны! Ломбардцы, давнишние заимодавцы покойного батюшки нового короля, который и сам был им должен немалые деньги, благословляли его имя. Никто даже не подумал, что фискальные законы прежних царствований оказывали свое действие лишь постепенно, и если Франция была богата, если здесь жили лучше, чем в любой другой стране, если одевались в добротное сукно, а то и в меха, если чуть ли не в лачугах были бани и чаны для мытья, то всем этим народ был обязан предшественникам Валуа, сумевшим навести порядок в государстве, унифицировать монету, дать каждому возможность свободно трудиться на своем поприще.

Король... король обязан быть также человеком мудрым, во всяком случае самым мудрым среди своих подданных. И Филипп начал изрекать своим звучным, от природы хорошо поставленным голосом различные истины, причем более изощренное ухо узнавало в них отголоски проповедей королевского наставника Гийома де Три.

– Мы всегда голосу разума внимаем, – говаривал он в тех случаях, когда не знал, какое следует принять решение.

А если он ошибался, что случалось с ним частенько, и вынужден был отменять то, что приказал сделать накануне, он самоуверенно заявлял:

– Наиразумнейше менять собственные свои решения.

Во всех случаях лучше предупредить, чем упрежденну быть, – высокопарно изрекал сей король, который в течение всех двадцати двух лет своего правления без конца сталкивался с неожиданностями, одна плачевнее другой.

Никогда еще ни один монарх не наболтал в своей жизни столько пошлостей и с таким многозначительным видом. Кругом считали, что он мыслит, а на самом деле он думал о том, какое бы изречение ему сейчас высказать, дабы создалось впечатление, будто он и впрямь размышлял, но голова у него была пустая, как высохший орех.

Король, настоящий король, – не забыть бы главного – должен быть доблестным и храбрым и жить в роскоши! На самом-то деле Филипп имел лишь один талант – отменно владел оружием. Нет, не на войне, а просто в турнирных состязаниях на копьях и мечах. В качестве наставника молодых рыцарей он был бы, что называется, незаменим при дворе какого-нибудь барончика. Но коль скоро он стал владыкой Франции, его королевское жилище напоминало замок из романов о рыцарях Круглого стола, которыми зачитывались в ту эпоху и которыми была забита его голова. Турнир за турниром, празднества, пиры, охота, различные увеселения, а потом снова турниры, целые леса страусовых перьев на шлемах, и кони, убранные богаче, чем придворные дамы.

Филипп весьма усердно занимался делами государственными, отводя им ровно час в день после очередного состязания, откуда он возвращался весь в поту, или очередного пиршества, откуда он возвращался с набитым брюхом и сильно затуманенной головой. Его канцлер, королевский казначей, многочисленные сановники принимали решения за него или шли за приказами к Роберу Артуа. А тот и впрямь тратил на управление страной больше времени и сил, нежели сам король.

При любом затруднении Филипп вызывал к себе Робера для совета, и поэтому все безоговорочно повиновались графу Артуа, зная, что любое его распоряжение будет одобрено королем.

Так дело и шло, и наконец весь двор отправился на коронацию, где архиепископ Гийом де Три должен был возложить корону на главу бывшего своего питомца. Праздник, пришедшийся на конец мая, длился целых пять дней.

Казалось, все королевство собралось в Реймсе. Да и не только королевство, но также и половина Европы, в том числе великолепный и полностью обнищавший король Богемии

Иоганн, граф Вильгельм Геннегау, маркиз Намюрский и герцог Лотарингский. Целых пять дней увеселений и пирушек – про такое изобилие и про такие траты реймские горожане еще никогда и не слыхивали. Они, которым пришлось покрыть все расходы на устройство празднеств, они, которые брюзжали по поводу непомерных затрат на последние коронавания, на сей раз с дорогой душой доставляли все в двойных, тройных количествах. Впервые за последнюю сотню лет во Французском королевстве было выпито столько – вино и еду развозили на лошадях по дворам и площадям.

Накануне коронавания король с превеликой помпой посвятил в рыцари Людовика де Креси, графа Фландрского и Неверского. Решено было, что меч Карла Великого во время торжественной церемонии коронавания будет держать граф Фландрский и затем передаст его новому монарху. Все руками развели, как это коннетабль согласился столь безропотно отказаться от обряда, который по установленной традиции выполнял именно он. Да еще пришлось посвятить для этого графа Фландрского в рыцари. Но мог ли Филипп VI с большим размахом засвидетельствовать перед всем светом, какую горячую дружбу питает он к своему фландрскому родичу?

А на следующий день, когда в соборе уже шла торжественная церемония, когда главный королевский камергер Людовик Бурбон уже обул Филиппа в сапожки, расшитые королевскими лилиями, после чего крикнул графа Фландрского, которому полагалось подать меч, тот даже не шелохнулся.

– Мессир граф Фландрский, – повторил Людовик Бурбон.

И по-прежнему Людовик де Креси не тронулся с места и стоял со скрещенными на груди руками.

– Мессир граф Фландрский, – снова поднял голос герцог Бурбон, – ежели вы присутствуете здесь или кто-то уполномочен присутствовать здесь от вашего имени, соблаговолите выполнить долг ваш, иначе вы нарушите его.

Под сводами собора застыла мертвая тишина, прелаты, бароны и сановники переглядывались с испуганно-удивленным видом; один лишь король даже бровью не повел, да Робер Артуа, сопя, закинул голову вверх, будто его вдруг ужасно заинтересовала игра лучей, пробивавшихся сквозь витражи.

Наконец граф Фландрский соблаговолит выступить вперед, приблизился к королю и, склонившись перед ним, проговорил:

– Сир, ежели бы кликнули графа Неверского или графа де Креси, я немедленно подошел бы к вам.

– Но почему же, мессир, почему? – спросил Филипп VI. – Разве вы не граф Фландрский?

– Сир, по титулу граф, но пока что я не извлек из этого ровно никакой пользы.

Вот тут-то Филипп VI и принял самый что ни на есть королевский вид, выпятил грудь, оглядел собор смутным взглядом и, нацелившись своим внушительным носом на собеседника, изрек хладнокровным тоном:

– Что вы такое говорите, кузен?

– Сир, – отвечал граф, – жители Брюгге, Ипра, Поперинга и Касселя выдворили меня прочь из моих ленных владений и не считают меня более ни своим графом, ни своим сеньором, хорошо еще, что мне, преодолев многие трудности, удалось бежать в Гент, ибо весь край охвачен мятежом...

Тут Филипп Валуа пристукнул своей огромной ладонью по подлокотнику трона – жест этот он не раз замечал у Филиппа Красивого и сейчас повторил его бессознательно, ибо в глазах его покойный дядя был подлинным воплощением величия.

– Людовик, дражайший мой кузен, – произнес он отдельно и звучно, – для нас вы граф Фландрский, и клянусь святым помазанием и великим таинством, свершающимся ныне, не знать ни отдыха, ни срока, пока мы не вручим вам в полное владение ваше графство.

Граф Фландрский преклонил перед королем колено.

– От всей души благодарю вас, сир.

И церемониал пошел обычным порядком.

Робер Артуа многозначительно подмигнул своим соседям, давая им понять, что вся эта якобы непредвиденная заминка была задумана заранее. Филипп VI сдержал свои обещания, данные им через Робера при вербовке сторонников. В тот же день Филипп д'Эврё появился в мантии, украшенной гербами короля Наварры.

Сразу же после коронования Филипп VI собрал пэров и баронов, принцев королевской крови, иноземных сеньоров, прибывших на церемонию миропомазания, и так, словно бы дело не терпит даже минуты задержки, установил вместе с ними точный день, когда начнется усмирение фландрских мятежников. Священный долг каждого доблестного государя – защищать права своих вассалов! Кое-кто из людей осмотрительных, здраво рассудив, что весна уже кончается и что войско будет собрано лишь к осени, то есть в самый разгар дождей, – они до сих пор не забыли «грязевого похода», затеянного Людовиком Сварливым, – присоветовал государю отложить экспедицию на год. Но старик коннетабль Гоше пристыдил их и крикнул трубным своим голосом:

– Для того, кому по сердцу бранные труды, погода всегда подходящая!

Ему уже стукнуло семьдесят восемь, и он недаром поэтому так торопился возглавить последнюю свою кампанию и, надеясь перехитрить судьбу, согласился на то, чтобы не он лично, а граф Фландрский вручил королю меч Карла Великого.

– Да и англичанишки, которые мутят воду в этом краю, получают неплохой урок, – проворчал коннетабль в заключение.

Разве не читали все собравшиеся здесь, под сводами Реймского собора, в рыцарских романах повествование о подвигах восьмидесятилетних героев, опрокидывающих в честном бою неприятеля и способных раскроить ему мечом шлем, да и череп заодно? Неужели бароны уступят в отваге этому старцу, этому заслуженному воину, которому не терпится отправиться в поход вместе со своим шестым королем?

Поднявшись с трона, Филипп Валуа возгласил:

– Кто любит меня, пойдет за мной!

Среди единодушного восторженного ликования, вызванного этими словами, решено было начать поход в конце июля и как бы случайно начать с Арраса. Таким образом, Робер, воспользовавшись подходящим случаем, сумеет расшевелить графство своей тетушки Маго.

И действительно, в начале августа французы вошли во Фландрию.

Некий горожанин по имени Заннекен имел под командой пятнадцать тысяч человек – ополченцев Вёрне, Дисмейдена, Поперинга и Касселя. Желая показать, что, мол, и ему ведомы воинские обычаи, он послал картель королю Франции, где просил назначить день битвы. Но Филипп пренебрег этим картелем, равно как и этим мужланом, который смеет корчить из себя принца крови, и повелел ответить фламандцам, что, коль скоро у них нет военачальника, пусть защищаются как могут и как хотят. Вслед за чем отрядил двух маршалов – Матье де Три и Робера Бертрана, прозванного Рыцарем Зеленого Льва, – с приказом предать огню окрестности Брюгге.

Когда маршалы вернулись после этой военной операции, их встретили кликами восторга: каждому радостно было полюбоваться зрелищем полыхающих вдали нищенских домишек. А рыцари в богатом одеянии, даже не при оружии, переходили от шатра к шатру, с аппетитом вкушали яства под расшитыми золотом знаменами и играли со своими приближенными в шахматы. Французский лагерь и впрямь походил на лагерь короля Артура, каким изображается он в книжках с картинками, и каждый барон отождествлял себя кто с Ланселотом, кто с Гектором, а кто с Галаадом.

Но случилось так, что, когда наш доблестный монарх, предпочитавший, по собственным его словам, упреждать, чем упрежденну быть, весело пировал в компании приближенных, в лагерь ворвалось пятнадцать тысяч фламандцев. Они потрясали знаменами, на которых был изображен петух, а под ним красовалась дерзкая надпись:

Когда сей кочет запоем,  
«Король-подкидыш» Фландрию возьмет.

В течение нескольких минут они разграбили добрую половину французского лагеря, перерезали веревки, державшие шатры, сбрасывали наземь шахматные доски, опрокидывали пиршественные столы, а заодно порубили немало сеньоров.

Французская пехота обратилась в бегство – страх гнал ее без передышки вплоть до Сент-Омера, другими словами, целых сорок лье.

А король успел только накинуть на кольчугу плащ, украшенный гербами Франции, натянуть на голову шлем белой кожи и вскочить на своего боевого коня, дабы последовать примеру героев рыцарских романов.

В этой битве обе неприятельские стороны совершили непростительный промах, и обе в силу тщеславия. Французские рыцари презирали фламандское мужичье, а фламандцы, желая доказать, что, мол, и они настоящие воины и ничуть не уступают высокородным сеньорам, облеклись в воинские доспехи, но в атаку они пошли пешие!

Граф Геннегау и его брат Иоганн, чьи войска были расположены в стороне, первыми устремились на фламандцев с фланга и расстроили их атаку. Французские рыцари, поднятые в бой королем, наконец-то смогли обрушиться на вражескую пехоту, скованную в своих действиях тяжелыми, зато великолепными рыцарскими доспехами, опрокинуть ее, топтать копытами своих мощных боевых коней, крушить и убивать. Эти благородные Ланселоты и Галаады, впрочем, только налетали на своих противников и оглушали их, предоставляя храбрым оруженосцам приканчивать побежденных ударом кинжала. Того, кто пытался бежать, сметала конница; тому, кто пытался сдаться на милость победителя, тут же перерезали глотку. В тот день полегло тринадцать тысяч фламандцев, и на поле боя высилась воистину сказочная груда железа и трупов, и к чему бы ни прикоснулась человеческая рука – к траве ли, к упряжи ли, к человеку или животному, – она окрашивалась алой кровью.

Битва при Касселе, начавшаяся беспорядочным бегством, окончилась полной победой Франции. О ней уже говорили как о новой битве при Бувине.

А ведь истинным победителем был не король, не старый коннетабль Гоше, не Робер Артуа, с какой бы отвагой они, подобно горному обвалу, ни обрушивались на вражеские ряды. Французов спас граф Вильгельм Геннегау. Но всю славу пожал его шурин – Филипп VI.

Столь могущественный владыка, как Филипп, теперь уже не мог терпеть ни малейшего нарушения традиционного выражения покорности со стороны своих вассалов. Поэтому английскому королю, герцогу Гиеньскому, было незамедлительно отправлено послание с требованием прибыть во Францию и принести вассальную присягу верности, да не мешкать попустому.

Никогда еще не было спасительных поражений, зато бывали роковые победы. Эти несколько дней под Касселем дорого обошлись Франции, ибо породили во множестве ложные идеи: во-первых, французы уверовали, что новый король непобедим и, во-вторых, что пехота ничего не стоит в бою. Двадцать лет спустя разгром французских войск при Креси будет прямым следствием этого заблуждения.

А пока что и те, кто собирал под свои знамена людей, и те, кто просто действовал копьем, и даже самый захудалый конюший с высоты седла жалостливо поглядывали на копошащихся внизу людишек, вышедших на поле брани пешими.

Той же осенью в середине октября в возрасте тридцати пяти лет скончалась в своем жилище, в старинном отеле Тамплъ, Клеменция Венгерская, злосчастная королева, вторая супруга Людовика Сварливого. Она оставила столько долгов, что уже через неделю после ее кончины по требованию итальянских заимодавцев Барди и Толомеи все ее имущество – перстни, короны, драгоценности, мебель, белье, ювелирные изделия и даже кухонная утварь – пошло с торгов.

Старик Спинелло Толомеи, волочивший ногу, выставив солидное свое брюшко, по обыкновению прикрыв один глаз и широко открыв другой, самолично пожаловал на эту распродажу, где шестеро золотых дел мастеров, они же оценщики, назначенные королем, определяли цену каждого предмета. И все, что дал королеве Клеменции лишь один краткий год непрочного счастья, все пошло прахом, все развеялось как дым.

Целых четыре дня подряд оценщики Симон де Клокет, Жан Паскон, Пьер из Безансона и Жан из Лилля громогласно возглашали:

– Золотая шляпа<sup>6</sup> с четырьмя крупными розовыми рубинами – баласами, четырьмя крупными изумрудами, шестнадцатью мелкими рубинами, шестнадцатью мелкими изумрудами и восемью александрийскими рубинами оценена в шестьсот ливров. Куплена королем!

– Палец с четырьмя сапфирами, из коих три имеют квадратную форму, а один кабошон, оценен в сорок ливров. Куплен королем!

– Палец с шестью восточными рубинами, тремя изумрудами квадратной формы и тремя смарагдами оценен в двести ливров. Куплен королем!

– Позолоченная серебряная миска, двадцать пять кубков, два блюда, одна чаша – оценено в двести ливров. Куплены его светлостью Робером Артуа, графом Бомон!

– Дюжина позолоченных кубков с финифтью, украшенных гербами Франции и Венгрии, большая позолоченная солонка на подставке в виде четырех обезьян, все вместе за четыреста пятнадцать ливров. Куплено его светлостью Робером Артуа, графом Бомон!

– Кошель, как снаружи, так и с изнанки расшитый золотом и жемчугом, а с внутренней стороны кошель вставлен восточный сапфир. Оценен в шестнадцать ливров. Куплен королем!

Торговая компания Барди приобрела самую дорогую вещь – перстень Клеменции Венгерской с огромнейшим рубином, оцененный в тысячу ливров. Впрочем, Барди и не собирались за него платить, коль скоро стоимость перстня шла в частичное погашение долга покойной, к тому же они не сомневались, что смогут перепродать его папе, который сказочно разбогател теперь, хотя в свое время тоже был их должником.

Робер Артуа, желая показать публике, что всякие там кубки и прочая посуда для вина не самая главная его забота, приобрел за тридцать ливров Библию на французском языке.

Церковное облачение, подрясники и стихари купил епископ Шартрский.

Ювелир Гийом Фламандец по дешевке приобрел золотой столовый прибор усопшей королевы.

За ее лошадей выручили шестьсот девяносто два ливра. Карета мадам Клеменции, равно как и карета ее придворных дам, тоже пошла с молотка.

И когда все до последней мелочи было вынесено из отеля Тамплъ, присутствующим почудилось, будто навсегда закрылись двери этого проклятого Богом дома.

И впрямь получалось так, словно в нынешнем году прошлое угасало само по себе, расчищая место новому царствованию. В ноябре месяце скончался епископ Аррасский, Тьерри д'Ирсон, канцлер графини Маго. В течение тридцати лет был он советником графини, в свое время также и ее любовником, и верным ее слугой, всегда и везде, где только затевала она

---

<sup>6</sup> Золотая шляпа. – В Средние века это обозначение использовалось параллельно со словом «корона». Равным же образом в ювелирном ремесле слово «палец» означало «кольцо».

интригу. Вокруг Маго замкнулся круг одиночества. А Робер Артуа назначил в Аррасскую епархию некоего Пьера Роже, священнослужителя<sup>7</sup>, преданного дому Валуа.

Все поворачивалось к Маго черной стороной, и все благоприятствовало Роберу, кредит которого непрерывно рос и который добился высших почестей в государстве.

В январе месяце 1329 года Филипп VI сделал графство Бомон-ле-Роже пэрством – тем самым Робер становился пэром Франции.

Коль скоро король Англии что-то медлил приносить свою вассальную присягу, решено было вновь захватить герцогство Гиеньское. Но прежде чем приступить к военным действиям, отрядили Робера Артуа в Авиньон, чтобы добиться поддержки папы Иоанна XXII.

Две волшебной прекрасные недели провел Робер на берегах Роны. Ибо Авиньон, куда стекалось все злато христианского мира, являл собой для того, кто любит хорошо поесть, поиграть в зернь и позабавиться с веселыми прелестницами, град несравнимых утех под властью восьмидесятилетнего папы-аскета, с головой погруженного в дела финансовые, политические и теологические.

Святой отец охотно давал новоиспеченному пэру Франции аудиенцию за аудиенцией; в папском дворце в честь Робера устроили пир, и королевский посланец достойно поддерживал беседу с кардиналами. Но верный склонностям бурной своей юности, он завязал также знакомство с разным сбродом. Где бы Робер ни появлялся, он тут же и без всяких усилий со своей стороны привлекал к себе то девицу легкого поведения, то юнца дурных наклонностей, то преступника, ускользнувшего из лап правосудия. Пусть в городе имелся один-единственный скупщик краденого, Робер обнаруживал его уже через четверть часа. Монах, изгнанный из ордена после какого-нибудь крупного скандала, причетник, обвиненный в краже или клятвoprеступлении, с самого утра толклись в его прихожей, надеясь найти в Робере защитника и покровителя. На улицах его то и дело приветствовали прохожие с весьма подозрительными физиономиями, и он еще долго, но тщетно старался припомнить, где же, в каком именно при-tone какого именно города, он в свое время встречался с ними. И впрямь он внушал доверие самому разнокалиберному сброду, и то обстоятельство, что ныне он стал вторым лицом во французском государстве, ничуть не меняло дела.

Бывший его слуга Лорме ле Долуа был слишком стар для долгих путешествий и уже не сопровождал своего господина. Но ту же самую роль и те же самые обязанности выполнял теперь при Робере Жилле де Нель, и хоть был он значительно моложе Лорме, успел пройти ту же школу. Не кто иной, как Жилле, загнал в сети его светлости Робера некоего Масио Алемана, оставшегося не у дел судейского пристава, готового на все и, что самое существенное, бывшего родом из Арраса. Оказалось, этот самый Масио отлично знал епископа Тьерри д'Ирсона, – дело в том, что епископ Тьерри на склоне лет своих завел себе подружку и для души, и для ложа, некую Жанну Дивион, бывшую на добрых двадцать лет моложе своего возлюбленного; теперь, после смерти епископа, она жалуется на всех перекрестках, что графиня Маго чинит ей, мол, разные неприятности. Если его светлость пожелает поговорить с этой дамой Дивион...

Еще и еще раз Робер Артуа убеждался в том, сколь многое могут вам поведать люди, не пользующиеся никакой репутацией или пользующиеся довольно скверной. Конечно, пристав Масио не тот человек, которому можно спокойно доверить свой кошелек, зато он знает много весьма и весьма занятных вещей. Поэтому его обрядили в новое платье, дали ему добрую лошадку и отправили на север.

Вернувшись в марте месяце в Париж, Робер, радостно потирая руки, утверждал, что скоро в графстве Артуа произойдут кое-какие перемены. Намеками он давал понять, что епи-

---

<sup>7</sup> ...некоего Пьера Роже, священнослужителя... – Пьер Роже, перед тем аббат Фекамский, участвовал в переговорах между парижским и лондонским дворами, до Амьенского оммажа. Был назначен в Аррасское епископство 3 декабря 1328 г. в замещение Тьерри д'Ирсона; потом был последовательно архиепископом Санским, архиепископом Руанским и, наконец, в 1342 г. по смерти Бенедикта XII был избран папой. Правил под именем Клементя VI.



скоп Тьерри в свое время утаил королевские эдикты в интересах графини Маго. Десятки раз порог его кабинета переступала какая-то женщина с низко надвинутым на лоб капюшоном, и он вел с ней долгие секретные переговоры. С каждой неделей он становился все веселее, все увереннее в себе и громкогласно утверждал, что враги его не сегодня завтра будут повержены в прах.

В апреле месяце английский двор, уступив настояниям папы, вновь прислал в Париж епископа Орлетона в сопровождении многочисленной свиты – целых семьдесят два человека: тут были знатные сеньоры, и прелаты, и ученые правоведы, и писцы, и слуги, а целью его приезда было выторговать наиболее приемлемую форму принесения вассальной присяги. Словом, собирались заключить настоящий договор.

Дела английского государства шли не слишком-то блестяще. Авторитет лорда Мортимера не только не вырос, но значительно упал после того, как он под угрозой вооруженных солдат сгонял пэров для обсуждения важнейших вопросов и точно таким же манером принуждал заседать парламент. Пришлось ему также подавить мятеж баронов, поднявшихся против него с оружием в руках и группировавшихся вокруг Генри Ланкастера Кривая Шея, так что Мортимеру, управлявшему страной, приходилось сталкиваться с непомерными трудностями.

В начале мая отошел в лучший мир доблестный Гоше де Шатийон на пороге славного своего восьмидесятилетия. Появился на свет он еще при Людовике Святом и целых двадцать семь лет верно служил своим королям, выполняя обязанности коннетабля. Не раз громовой его голос предрешил исход битвы, а равно клал конец спорам на Королевских советах.

26 мая юный король Эдуард III, заняв по примеру отца пять тысяч ливров у ломбардских банкиров с целью покрыть дорожные расходы, сел в Дувре на корабль, дабы принести венценосному кузену, королю Франции, свою вассальную присягу.

Его не сопровождали ни его мать Изабелла, ни лорд Мортимер, справедливо опасавшиеся, как бы во время их отсутствия власть не перешла в другие руки. Так что шестнадцатилетний король Англии, порученный попечениям двух епископов, один отправился к самому блестящему двору во всей Европе.

Ибо Англия была слаба, разъединена, а Франция имела все. Не было в целом христианском мире более могущественной державы. Да и как было не завидовать этому процветающему государству с многочисленным населением, столь богатому различными промыслами, со столь успешно развивающимся сельским хозяйством, этому государству, руководимому пока еще опытными людьми и пока еще деятельной знатью; и «король-подкидыш», правящий страной уже целый год, пожинающий лишь победы да успехи, вызывал всеобщую зависть, как ни один другой король в целом свете.

## **Глава V**

### **Гигант перед зеркалами**

Ему хотелось не только показать себя людям, но и самому на себя наглядеться. Хотелось, чтобы его супруга, красавица-графиня, чтобы все его трое сыновей – Жан, Жак и Робер, старшему из которых уже минуло восемь и который уже сейчас был не по возрасту высок и крепок, – чтобы его конюшие, слуги, да и все люди, привезенные им с собой из Парижа, видели его во всем блеске великолепия, но он желал также покрасоваться перед самим собой и повосхищаться своей красотой.

Поэтому-то он и потребовал, чтобы все зеркала, которые только есть в предоставленном ему доме или у его свитских, притащили и развесили вплотную одно к другому по стенам его опочивальни, обтянутой гобеленами, – тут были зеркала из отполированного до блеска

серебра<sup>8</sup>, круглые, как тарелки, и зеркала на ручке, зеркала стеклянные, наложенные на оловянный лист, вырезанные в виде восьмиугольника и оправленные в позолоченную раму. Да, не слишком-то возрадуется епископ Амьенский, увидев, как продырявили гвоздями его прекрасные гобелены. Ну да ладно! Принц крови может себе такое позволить. Просто Роберу Артуа, сеньору Конша и графу Бомон-ле-Роже, пришла охота видеть себя в одеянии пэра, тем паче что надел он его впервые.

Как ни вертелся Робер, как ни крутился, отступал на два шага, подходил ближе, все равно ему не удавалось разглядеть себя целиком, а только частями, подобно разрезанному на куски витражу: слева золотая чашка длинной шпаги, а чуть повыше, справа, кусок груди, так что видны вышитые на шелковом кафтане гербы, вот там плечо, и к нему сверкающей пряжкой пристегнута пышная мантия пэра, а у самого пола, где-то там далеко внизу, бахрома длинной епанчи, морщившейся над золотыми шпорами, а потом, где-то уже на самом верху, корона пэра о восьми одинаковых цветках, нечто весьма монументальное, тем более что по его приказу в корону вставили все рубины, приобретенные на распродаже имущества покойной королевы Клеменции.

– Одет я, надо сказать, на славу, – решил он. – Но до чего же досадно, что я так долго не получал звания пэра, ибо костюм пэра мне идет, здорово идет!

Графиня Бомон, тоже в парадном одеянии, по-видимому, лишь наполовину разделяла ликование своего спесивого супруга.

– А вы уверены, Робер, – озабоченно спросила она, – что эта дама придет вовремя?

– Ну конечно же, конечно, – поспешил ответить Робер. – И если даже она не явится сегодня, я все равно оглашу свои претензии, а бумаги представлю завтра.

Единственное, что омрачало радость Робера от созерцания нового его туалета, – это то, что впервые пришлось надеть его в жару, ибо лето нынче выдалось раннее. Он безбожно потел под всей этой сбруей, под всем этим золотом, бархатом и плотными шелками, и, хотя еще с утра хорошенько помылся в чане, от него уже шел крепкий, терпкий запах хищного зверя.

В распахнутое окно виднелось пронизанное солнечным светом небо, доносился трезвон соборных колоколов, заглушавших уличные шумы, хотя заглушить их, казалось бы, не так-то легко – шутка ли, в город съехалось пять королей, и каждый со своим двором.

И впрямь в этот день – 6 июня 1329-го – в Амьене собралось пять королей. По словам канцлера, такого съезда никто из старожилов не помнит. Для принятия присяги юного английского короля Филипп Валуа с умыслом пригласил своих родственников и союзников, королей Наварры, Богемии и Майорки, а также графа Геннегау, герцога Афинского, и заодно всех пэров, герцогов, графов, епископов, баронов и маршалов.

Шесть тысяч коней, приведенных французами, и всего шестьсот, приведенных англичанами. Ах, как порадовался бы Карл Валуа за своего сына, да и за своего зятя Робера Артуа, если бы мог присутствовать на таком пышном сборище!

Новому коннетаблю Раулю де Бриенну поручили для начала заняться размещением гостей. Со своей задачей он справился блестяще, хоть и похудел за несколько дней на пять фунтов.

Король Франции со всем семейством занял епископский дворец, правое крыло коего предоставили Роберу Артуа.

---

<sup>8</sup> ...тут были зеркала из отполированного до блеска серебра... – До XVI в. большие зеркала, дающие отражение по грудь или в полный рост, еще не существовали; тогда были только маленькие зеркала, которые вешались или ставились на мебель, да еще карманные. Делали их либо из полированного металла, как в древности, либо, начиная с XIII в., из стекла, на обратную сторону которого прозрачным клеем наклеивали оловянную фольгу. Нанесение на стекло ртутной или оловянной амальгамы было изобретено только в XVI в.

Английского короля поселили в Мальмезоне<sup>9</sup>, а прочих королей определили на постой в домах богатых горожан. Слуги спали вповалку в коридорах, конюшие расположились лагерем вокруг города вместе с лошадьми и повозками для господских пожитков.

Из ближайшей провинции, из соседних графств и даже из Парижа привалило несметное количество народа. Зеваки устраивались прямо на папертях.

В то время пока канцлеры двух держав выторговывали последние пункты и формулы вассальной присяги и после бесполезных и многословных споров единодушно пришли к соглашению, что договориться им не удастся, вся знать Европы в течение этой недели развлекалась турнирами и состязаниями на копьях, глазела на бродячих лицедеев, дававших свои представления, на жонглеров, на танцующих, пировала, кутила, пила, причем пиршественные столы были расставлены во фруктовых садах при замках, и начиналось великое едение в полдень, а заканчивалось при мерцании звезд.

С амьенских заболоченных земель<sup>10</sup> на плоскодонках, которые одни лишь и могли пройти по узеньким каналам, и то если гребец орудовал вместо весел шестом, доставляли груды ирисов, лютиков, гиацинтов и лилий, разгружали их на причалах речных рынков, разбрасывали цветы по улицам, дворам и залам, где проходили короли. Город был напоен ароматом цветов, безжалостно раздавленных ногами и колесами; цветочная пыльца липла к подошвам, и запах ее примешивался к крепкому запаху конюшни и толпы.

А еда! А вина! А мясо! А пироги! А пряности! На бойни, работавшие круглые сутки, гнали стада быков и свиней, целые отары овец; охотничью добычу – ланей, оленей, кабанов, косуль, зайцев, всякую морскую рыбу – осетров, семгу, окуней, а также и добычу речную – длинных щук, лещей, линей, раков и разную домашнюю птицу – нежных каплунов, на диво откормленных гусей, пестрых фазанов, лебедей, белоснежных цапель, павлинов с переливчатыми хвостами – полными повозками везли в дворцовые поварни. Повсюду откупоривали бочки с вином.

Любой, будь он последний слуга, разгуливавший в ливрее, держал себя как важный сеньор. Девушки совсем ошалели. Со всех сторон хлынули итальянские торговцы на эту ярмарку, какие бывают лишь в сказках и какую устроили здесь по приказу короля. Фасады амьенских домов исчезали под штуками шелка, парчи, ковров, вывешенных из окон и замечавших флаги.

Слишком громко звонили колокола, оглушительно ревели фанфары, кричали люди, слишком много было здесь коней в парадной упряжи и охотничьих псов, слишком много еды и питья, слишком много принцев крови, слишком много воров, уличных девок, слишком много роскоши и золота, слишком много королей! Было отчего голове пойти кругом.

Все королевство пьянело от созерцания своей мощи, как недавно пьянел перед зеркалами Робер Артуа, созерцая свое отражение.

Лорме, дряхлый его слуга, тоже одетый во все новое, но даже сейчас, в эти праздничные дни, не перестававший брюзжать... о, в сущности, по пустякам, потому что Жилле де Нель слишком уж расхозяйничался в доме, потому что вокруг сеньора вертятся все какие-то новые люди... подошел к Роберу и произнес вполголоса:

– Дама, которую вы ждали, здесь.

Гигант повернулся к Лорме всем телом.

– Веди ее ко мне, – приказал он.

---

<sup>9</sup> Английского короля поселили в Мальмезоне... – Этому особняку Мальмезон, дворцовых размеров, предстояло стать впоследствии городской ратушей Амьена.

<sup>10</sup> С амьенских заболоченных земель... – Эти земли изборозжены каналами, дренирующими грунтовые воды, по которым огородники передвигаются на длинных черных плоскодонках, приплывая прямо на Водяной рынок в Амьене. Огороды (hortillonnages) покрывают территорию почти в триста гектаров. Латинское происхождение названия (hortus – сад) позволяет предположить, что создание этих огородов относится к временам римской колонизации.

Затем подмигнул своей супруге-графине, широким взмахом руки выставил всех из комнаты и еще крикнул вслед:

– А ну уходите, стойте пока во дворе.

Оставшись один, он подошел на минутку к окну, поглядел на толпу, собравшуюся полюбоваться торжественным въездом знатных сеньоров и напиравшую на еле сдерживавшую ее цепь лучников. А там, наверху, всюду заливались колокола; с лотков поднялся вдруг запах горячих вафель, и сразу весь воздух пропитался аппетитным их ароматом; окрестные улицы были сплошь забиты народом; из-за стоявших впритык друг к другу барок лишь кое-где поблескивали под солнцем воды канала Оке.

Робера Артуа распирало чувство торжества, но оно, это чувство, станет еще сильнее через полчаса, когда он в соборе протиснется к своему кузену Филиппу Валуа и скажет ему несколько слов, от которых задрожат собравшиеся там удивленные короли, герцоги и бароны. И каждый отправится восвояси не в столь радужном настроении, в каком он явился в собор. И в первую очередь его дражайшая тетушка Маго и герцог Бургундский.

О, конечно, Робер удачно обновит свое пышное одеяние пэра! Двадцать, нет, больше двадцати лет упорной борьбы нынче увенчаются успехом. И однако в этой неизбывной радости и гордыне была какая-то трещинка, какая-то легчайшая печаль. Откуда бы ей взяться, особенно теперь, когда все ему улыбалось, когда исполнялись все его желания? И вдруг он понял: во всем повинен этот запах вафель. Пэр Франции, который сейчас потребует себе графство своих предков, не может взять и просто так выйти на улицу, хорош он будет в своей короне о восьми зубцах, если начнет у всех на глазах уплетать вафли. Пэру Франции заказано драть глотку, смешиваться с толпой, щипать встречаемых девушек, а вечерами орать в компании четырех потаскух, что было дозволено ему двадцатилетнему, ему, вечно сидевшему без гроша. Но именно эта печаль его и утешила. «Значит, – подумал он, – еще играет в жилах живая кровь!»

Посетительница скромно стояла у порога, боясь помешать думам этого знатного сеньора, да еще в такой огромной короне.

Было ей лет тридцать пять, лицо резко суженное к подбородку, резко очерченные скулы. Из-под капюшона дорожного плаща выглядывали косы, а от дыхания округлой пышной груди мерно поднималась и опадала шемизетка белого полотна.

«Ну и черт! Видать, наш епископ не скучал», – подумал Робер, оглядывая посетительницу.

Дама сделала реверанс, низко согнув одно колено. А Робер протянул ей свою огромную лапищу, всю в рубиновых перстнях.

– Давайте, – скомандовал он.

– При мне ничего нет, ваша светлость, – ответила дама.

Лицо Робера исказилось от гнева.

– Как так, а где же бумаги? – воскликнул он. – Вы меня сами заверили, что принесете их нынче!

– Я только что из замка Ирсонов, ваша светлость, мы там вчера были вместе с приставом Масио. Мы прямо прошли к железному кофру, вмурованному в стену, и отперли его ключами, которые велели изготовить заранее.

– Ну и что?

– Кто-то побывал там до нас. Кофр оказался пустым.

– Чудесная, просто чудесная новость! – проговорил Робер и даже чуть побледнел. – Вот уже целый месяц вы голову мне морочите: «Ваша светлость, ваша светлость, я могу вручить вам документы, из которых явствует, что графство принадлежит именно вам! Я знаю, где они спрятаны! На следующей же неделе я их вам принесу, а вы дадите мне в обмен землю и деньги». А потом проходит неделя, проходит другая... «В замке безвыездно живут Ирсоны, а при них я не смею там показаться». «Вчера я туда наконец проникла, ваша светлость, да ключ оказался

никуда не годный. Потерпите еще чуточку...» И в тот день, когда я должен наконец вручить королю два документа...

– Три, ваша светлость, три: брачный контракт графа Филиппа, вашего батюшки, письмо графа Робера, вашего деда, и еще одно письмо мессира Тьерри.

– Три! Это уже совсем из рук вон! Являетесь сюда и преспокойно сообщаете мне: «У меня ничего нет, кофр, мол, пустой». Неужели вы думаете, что я вам поверю?

– Да спросите пристава Масио, мы же с ним вместе ходили! Разве вы не понимаете, ваша светлость, что мне еще хуже, чем вам!

В глазах Робера Артуа промелькнула недобрая искра подозрения, и он спросил совсем иным тоном:

– Скажи-ка, любезная Дивион, уж не надеешься ли ты меня одурачить? Хочешь у меня побольше вытянуть или, может, перекинулась на сторону Маго?

– Ваша светлость! Ну как вам такое даже в голову могло прийти! – воскликнула она, еле сдерживая слезы. – И это после всего того зла, что причинила мне графиня Маго, бессовестно присвоившая себе все, что оставил мне по завещанию мой дорогой сеньор Тьерри! Ох, как бы мне хотелось, чтобы вы хорошенько отплатили мадам Маго за все ее злодеяния! Подумайте сами, ваша светлость: двенадцать лет я была верной подругой Тьерри, хотя люди пальцем на меня показывали. Но ведь епископ такой же человек, как и все прочие. А люди преисполнены злобы...

И Дивион пустилась рассказывать историю всех своих бед, которую Робер слышал по крайней мере раза три. Говорила она быстро; из-под ровной линии бровей ее взгляд, хоть и скользивший по Роберу, казалось, был обращен куда-то внутрь, как у всех, кто полностью поглощен лишь собственными своими делами и кого ничто другое на свете не интересует.

Само собой разумеется, ей нечего надеяться на мужа, ведь она ушла от него и открыто поселилась в доме епископа Тьерри. Конечно, муж у нее человек покладистый, возможно, еще и потому, что он уже давно не мужчина... Его светлость понимает, что я имею в виду... А епископ Тьерри, желая уберечь ее от превратностей судьбы, упомянул ее в своем завещании, оставил ей доходные дома и золотые монеты в благодарность за то, что она подарила ему несколько счастливых лет. Но не зря он опасался мадам Маго, которую, хочешь не хочешь, ему пришлось назначить своей душеприказчицей.

– Она всегда на меня косилась за то, что я моложе ее, и за то, что в свое время – Тьерри сам мне рассказал – он делил с ней ложе. Он отлично понимал, что, когда его не станет, она сыграет со мной злую шутку и что все Ирсоны – а они тоже против меня настроены, особенно придворная дама Маго Беатриса, самая мерзкая тварь из всей их семейки, – устроят так, чтобы выгнать меня вон и лишит наследства.

Робер уже не слушал эту болтовню, которой не предвиделось конца. Он снял свою тяжелую корону и положил ее на ларь, задумчиво поскреб свою рыжую шевелюру. Рухнули все его великолепно задуманные козни. «Хоть одну стоящую бумажку, брат мой, и я тут же прикажу обжаловать решение судов, состоявшихся в тысяча триста девятом и тысяча триста восемнадцатом годах, – вот что сказал ему Филипп VI. – Но пойми ты меня, как бы я ни желал тебе услужить, не могу я этого сделать, иначе пришлось бы менять свое решение относительно Эда Бургундского, а к каким это приведет последствиям, ты, очевидно, сам догадываешься». И ведь там была не просто бумажка, а сокрушительные документы, даже акты, которые Маго велела припрятать или уничтожить, дабы завладеть наследством Артуа, а он-то еще похвалялся, что их достанет!

– Я ухажу, – заявил он, – через несколько минут мне надо быть в соборе, где сеньору приносится присяга в вассальной верности.

– Какая присяга?

– Как какая, английского короля, конечно!

– Ах, так вот, значит, почему в городе такая толчея, я еле по улице пробралась.

Ничего-то она, эта дурочка, не видит, только и думает с утра до ночи об обрушившихся на нее горестях, ничего не понимает и даже спросить, что тут происходит, не удосужилась!

Робер подумал было, уж не слишком ли легкомысленно он доверился рассказам этой женщины, а вдруг ни бумага, ни железного кофра Ирсонов, ни признания епископа никогда и не существовало, а все это выдумала Дивион. И Масио Алемана тоже одурачила, а может быть, он просто ее соучастник?

– А ну-ка выкладывайте всю правду, женщина! Небось никогда вы этих бумаг и в глаза не видели.

– Как не видела, ваша светлость! – воскликнула Дивион, приложив ладони к своему скуластому лицу. – Было это в замке Ирсонов как раз в тот день, когда Тьерри почувствовал себя плохо и его перенесли в его отель в Аррасе. «Жаннетта, – вот что он мне сказал, – я хочу оградить тебя от козней графини Маго, как я сам старался себя от них оградить. Она считала, что письма с печатями, которые по ее приказу изъяли из архивов, чтобы лишить наследства его светлость Робера, так вот, она считала, что письма эти все сожжены. Но на ее глазах сожгли только те, что находились в парижских архивах. А копии, хранящиеся в Артуа, – это собственные слова Тьерри, ваша светлость, – я ее уверил, что они не существуют, но сберег их здесь, да еще добавил к ним собственноручно написанное письмо». И Тьерри подвел меня к кофру, вмурованному в нишу в его кабинете, и дал мне прочитать несколько листов, сплошь покрытых печатями; я даже глазам своим не поверила – неужели, думаю, может человек дойти до такой низости. Там же, в кофре, лежали восемьсот золотых ливров. И Тьерри на всякий случай, если, мол, с ним что случится, дал мне ключ.

– Ну и когда вы в первый раз явились в замок Ирсонов...

– Я перепутала ключи; наверно, я тот ключ потеряла. Все несчастья на мою голову валятся! А когда так плохо начинается, то и...

Да и растеряха к тому же! Нет, очевидно, она правду говорит. Если хочешь обмануть человека, такой ерунды нарочно не выдумаешь. Робер с удовольствием придушил бы ее, если бы от этого хоть какая-то польза была.

– Очевидно, после моего посещения они что-то заподозрили, – добавила она, – обнаружили кофр и взломали замки. Конечно, тут без Беатрисы не обошлось...

Дверь приоткрыли, и между створками просунулась голова Лорме. Робер досадливо махнул рукой, и голова исчезла.

– Но ведь, ваша светлость, – продолжала Жанна Дивион таким тоном, словно хотела искупить свою вину, – все эти письма можно, в конце концов, сделать заново, как по-вашему?

– Как так заново?

– А что ж тут такого, раз известно, что там было написано! Я, например, отлично помню, могу вам повторить почти слово в слово письмо монсеньора Тьерри.

Глядя куда-то вдаль пустыми глазами, подчеркивая каждую фразу вытянутым вперед пальцем, она начала:

– «Чувствую тяжкую на себе вину, что столь долго таил то, что права на графство Артуа принадлежат его светлости Роберу по соглашению, принятому перед бракосочетанием его светлости Филиппа Артуа с мадам Бланкой Бретонской; соглашение сие составлено в двух экземплярах, скрепленных печатью, из коих вторым владею я, а другой был изъят из королевских архивов одним из наших знатнейших вельмож... И единственное желание мое, чтобы после кончины графини Маго, по приказу коей, а также желая ей угодить, действовал я, буде Господь Бог призовет ее прежде меня, вернуть упомянутому выше его светлости Роберу то, что я хранил все это время...»

Та самая Дивион, что преспокойно теряла ключи, могла зато запомнить слово в слово прочитанное ею всего один раз послание. Бывают же люди, у которых так удивительно устроены

мозги! И она предлагает Роберу, как нечто самое естественное в мире, подделать документы! Видно, полностью лишена понятия добра и зла, не ощущает никакой разницы между тем, что хорошо и что дурно, между тем, что дозволено, и тем, что запрещено. По ее разумению, хорошо то, что идет ей на пользу. За свои сорок два года Робер успел совершить чуть ли не все смертные грехи: убивал, лгал, доносил, грабил, насиловал. Но подделывать документы – такого ему еще не доводилось!

– Есть еще один бывший бальи из Бетюна, Гийом де ла Планш, он тоже должен все это помнить и поможет нам, ибо в те годы служил у монсеньора Тьерри писцом.

– А где он, этот ваш бывший бальи? – спросил Робер.

– В тюрьме.

Робер досадливо пожал плечами. Час от часу не легче! Ах, какой же он свершил непростительный промах, так глупо поторопившись в столь щекотливом деле. Надо было подождать, когда бумаги будут у него в руках, а он удовольствовался обещанием. Правда и то, что представился весьма удобный случай – присяга английского короля, недаром сам Филипп VI советовал не упускать благоприятной минуты...

Старик Лорме снова просунул голову в дверь.

– Ладно, ладно, сам знаю! – нетерпеливо крикнул Робер. – Невелико дело – только площадь пересечь.

– Король сейчас придут, – укоризненно отозвался Лорме.

– Хорошо, иду.

В конце концов, король всего-навсего его шурин, да и королем-то стал лишь потому, что он, Робер, сделал для этого все, что требовалось сделать. Да тут еще эта жарница! По спине под тяжелой мантией пэра стекали струйки пота.

Робер подошел к окну и взглянул на собор с двумя его непохожими друг на друга ажурными башенками. Косые солнечные лучи ударили прямо в огромную розетку витража. По-прежнему пели колокола, и трезвон их заглушал людской гомон.

В сопровождении свиты по ступеням собора прошествовал герцог Бретонский.

А за ним, шагах в двадцати, ковылял хроменький герцог Бурбонский, шлейф его мантии несли двое конюших.

Вслед за Бурбоном появилась графиня Маго Артуа со своей свитой. Да, нынче любезная тетюшка имела право шагать уверенно! Багроволицая, чуть ли не на голову выше всех мужчин, она приветствовала толпу легким наклоном головы с видом царствующей императрицы. А ведь на самом деле просто воровка, лгунья, отравительница королей, обыкновенная преступница, что выкрадывает бумаги, скрепленные печатями, из королевских архивов! Быть почти у цели, чтобы опозорить ее при всех, одолеть ее – словом, добиться победы после двадцати лет неусыпных трудов, и вот отказаться от всего... и почему? Да потому, что наложница епископа перепутала ключи! Где это сказано, что с людьми злонравными нельзя сражаться тем же оружием злобы? И обязательно ли быть столь щепетильным в выборе средств, когда речь идет о торжестве справедливости?

По здравом рассуждении выходило, что если графиня Маго завладела бумагами, взломав кофр в замке Ирсонов, – предположим даже, что она их не сразу уничтожила, хотя именно так, казалось, она и должна была поступить, – то ей было бы весьма не с руки предъявлять их кому бы то ни было или хотя бы намекнуть на их существование, коль скоро бумаги эти – прямое доказательство ее вины. Здорово она покрутится, эта самая Маго, ежели предъявить ей письма, как две капли воды схожие с исчезнувшими! Будь у него хотя бы еще один день, чтобы все хорошенько обдумать, порасспросить кого следует... А приходится давать решительный ответ через час, не прибегая ни к чьей помощи, ни к чьему совету.

– Мы еще увидимся с вами, женщина, – пообещал он. – Только молчок, чтобы все было тихо!



Все-таки подделка документов – риск, и немалый...

Он взял в руки свою массивную корону, водрузил ее себе на голову, кинул взгляд в зеркала, отославшие ему обратно его отображение, рассеченное на тридцать кусков. Потом поспешил из комнаты, боясь опоздать в собор.

## Глава VI

### Вассальная присяга и клятвопреступление

«Никогда сын короля не преклонит колено перед сыном графа!»

Сам шестнадцатилетний монарх изобрел эту формулу и передал ее своим советникам, дабы они передали ее французским легистам.

– Как же так, монсеньор Орлетон, – говорил юный Эдуард, прибыв в Амьен, – как же так, ведь всего год назад вы здесь же во Франции доказывали, что я имею больше прав на французский престол, чем мой кузен Валуа, а теперь вдруг вы соглашаетесь с тем, что я должен пасть перед ним ниц?

Возможно, потому, что в детские годы Эдуард III страдал от неурядиц, раздиравших английский двор, из-за нерешительности и слабости своего отца, он сейчас, впервые предоставленный собственной воле, хотел одного – чтобы вновь восторжествовали ясные и здравые принципы. И в течение недели, проведенной в Амьене, он спешил обсудить все эти вопросы.

– Но лорд Мортимер весьма дорожит дружбой с Францией, – возражал ему Джон Мальтраверс.

– Но, лорд сенешаль, – прервал его Эдуард, – по-моему, вы находитесь здесь, чтобы меня охранять, а не давать мне советы.

Юноша с трудом скрывал отвращение, какое испытывал к барону Мальтраверсу с его лошадиной физиономией, к тюремщику и, безусловно, убийце Эдуарда II. Как тяжело было юному государю вечно находиться под надзором Мальтраверса или, что вернее, быть объектом его шпионских наблюдений.

– Лорд Мортимер, – продолжал он, – наш верный друг, но он не король, и не ему предстоит приносить присягу королю Франции в вассальной верности. А граф Ланкастер, глава Регентского совета, единственный, кто имеет право принимать решения от моего имени, перед отъездом вовсе не наказывал, чтобы я приносил присягу, как последний вассал. И я не намерен поэтому действовать по-вассальски.

Епископ Линкольнский Генри Бергерш, канцлер Англии, тоже принадлежал к партии Мортимера, но не был столь слепо предан ему, как Мальтраверс, да к тому же, сам человек блестящего ума, не мог не одобрить вопреки всем грядущим неприятностям намерения юного короля отстаивать свое достоинство, а одновременно и интересы своей державы.

Ибо, по обычаю, приносящий присягу верности своему ленному владыке должен не только предстать перед лицом такового без оружия, без короны, но еще и произнести свою клятву коленопреклоненным, подтверждая тем самым, что первейший долг вассала – принадлежать душой и телом своему сюзерену.

– Слышите, милорды, первейший долг, – гнул свое Эдуард. – И если в то время, как мы ведем войну с шотландцами, король Франции пожелает втравить меня в свою войну против Фландрии, Ломбардии или еще где-нибудь, я в силу этого первейшего долга обязан бросить все и мчаться к нему, иначе он будет вправе отобрать у меня мое герцогство. А сего быть не должно.

Один из сопровождавших государя баронов, лорд Монтегю, был бесконечно восхищен мудростью, которую столь рано, не по возрасту, проявил его юный властелин, и его столь же не по возрасту редкостной твердостью. Самому Монтегю было двадцать восемь лет.

– Я вижу, у нас будет славный государь, – воскликнул он. – И я счастлив служить ему.

И действительно, с той поры он не отходил от Эдуарда, помогая ему советами и став ему опорой.

И в конце концов шестнадцатилетний король восторжествовал. Советники Филиппа Валуа тоже желали сохранить мир, а главным образом положить конец раздорам. Разве не важнее всего прочего, что король Англии прибыл в Амьен? Ведь не для того же мы созвали сюда людей со всего королевства, не для того сюда съехалось пол-Европы, чтобы дело кончилось провалом.

– Ладно, пусть приносит простую присягу, – ответил Филипп VI своему канцлеру так, словно бы речь шла о какой-нибудь фигуре в танце или о начале турнира. – В сущности, он прав; на его месте я, безусловно, поступил бы точно так же.

Вот почему в соборе, где было не продохнуть от съехавшейся отовсюду знати, набившейся даже в боковые приделы, Эдуард III выступил вперед со шпагой на боку, в мантии, вышитой львами и спадавшей тяжелыми складками, опустив светлые ресницы под надвинутой на лоб короной. От волнения он, и так от природы бледный, побледнел еще сильнее. В этом пышном, тяжелом одеянии он казался особенно юным. И все присутствовавшие в соборе дамы вдруг расчувствовались и, умилившись, разом влюбились в этого подростка.

За Эдуардом шествовали двое епископов и с десяток баронов.

Король Франции в мантии, расшитой лилиями, сидел на хорах, чуть выше всех прочих собравшихся в соборе королей, королев и владетельных принцев, так что со стороны создавалось впечатление, будто он венчает пирамиду, составленную из золотых корон. Он поднялся, величественный и благожелательный, приветствуя своего вассала, остановившегося, не дойдя трех шагов до него.

Длинный луч солнца, пробившись сквозь витражи, коснулся обоих государей, словно небесным мечом.

Мессир Миль де Нуайе, канцлер, глава парламента и Фискальной палаты, отделился от группы пэров и высших должностных лиц государства и встал между двумя королями. Было ему лет шестьдесят, и по его сосредоточенно-серьезному лицу видно было, что ни теперешняя роль, ни это парадное одеяние не производят на него особого впечатления. Сильным, хорошо поставленным голосом он начал:

– Сир Эдуард, государь, наш владыка и могущественный сеньор, принимает вас здесь не ради того, чем владеет он и должен владеть в Гаскони и в Ажене, как владел ими и должен был владеть король Карл Четвертый и что не оговорено в вассальной присяге на верность.

Тут выступил вперед и встал против Миля де Нуайе канцлер Эдуарда лорд Генри Бергерш и отвечал:

– Сир Филипп, наш владыка и сеньор, король Англии, или кто-либо другой за него и от его имени не намерен отказываться от своих прав, каковы имеет он в герцогстве Гиень со всем ему принадлежащим, и полагает, что никакие новые права, каковы бы они ни были, не будут присвоены королем Франции в силу приносимой здесь вассальной присяги верности.

Таковы были компромиссные формулировки, с которыми согласились обе стороны, – в высшей степени двусмысленные, они, в сущности, ничего не уточняя, ничего и не улаживали. Каждое слово можно было толковать двояко.

Французская сторона желала показать, что пограничные земли, захваченные при предыдущем государе после кампании, которую вел Карл Валуа, останутся в прямой собственности французской короны. Другими словами, подтверждалось уже существующее положение вещей.

Для Англии слова «кто-либо другой за него и от его имени» были намеком на несовершеннолетие короля и на существование Регентского совета, но «от его имени» могло в равной мере касаться в будущем прерогатив сенешаля в Гиени или какого-либо другого наместника короля. А что касается выражения «никакие новые права», то его следовало понимать как под-

тверждение существующих по сей день прав, другими словами, сюда входило и соглашение, подписанное в 1327 году. Но обо всем этом в открытую сказано не было.

Осуществление таких деклараций на практике, как, впрочем, и всех мирных договоров или заключенных союзов, с незапамятных времен и у всех народов целиком и полностью зависело от доброй или злой воли правителей. В данном случае встреча двух государей свидетельствовала о взаимном желании жить в добром согласии.

Канцлер Бергерш развернул пергаментный свиток, с угла которого свисала государственная печать Английского королевства, и прочел вассальную присягу.

*Сир, я становлюсь вашим вассалом от герцогства Гиеньского со всем ему принадлежащим и объявляю, что пожаловано оно вами мне как герцогу Гиеньскому и пэру Франции, согласно мирному договору, установленному меж вашими и нашими предшественниками, и согласно с тем, как мы и наши предки, короли Англии и герцоги Гиеньские, поступали с вашими предками, королями Франции, в отношении того же герцогства.*

Тут епископ вручил Миль де Нуайе только что прочитанную им вслух грамоту, составленную гораздо короче, чем полагалось обычно при принесении вассальной присяги.

В ответ Миль де Нуайе возгласил:

– Сир, вы становитесь вассалом короля Франции, моего сеньора, в отношении герцогства Гиеньского и со всем принадлежащим ему, которое, как вы признаете, получили от него как герцог Гиеньский и пэр Франции, согласно принятому его предшественниками, королями Франции, и вашими предшественниками мирному договору и согласно тому, как вы и ваши предки, короли Англии и герцоги Гиеньские, поступали с его предшественниками, королями Франции, в отношении того же герцогства.

Каждое слово здесь могло бы при желании явиться прекрасным поводом для начала тяжбы в тот самый день, когда согласие будет почему-либо нарушено.

Король Эдуард III ответил:

– Да будет так!

И Миль де Нуайе закончил церемонию словами:

– Государь, король наш, принимает вас в вассалы, подтверждая свои заверения и вышеупомянутые оговорки.

Эдуард сделал три шага, отделявшие его от сюзерена, снял перчатки, вручил их лорду Монтею и, протянув свои тонкие белые руки, вложил их в широкие ладони французского короля. После чего оба короля облобызались в уста.

Тут только все собравшиеся в соборе заметили, что Филиппу VI почти не пришлось нагибаться, чтобы поцеловать своего юного английского родича. В основном разнились они телосложением, вернее, дородностью. А королю Англии еще расти и расти, и у него в свое время тоже будет прекрасная стать.

С самой высокой колокольни снова донесся трезвон. И на каждого снизошло какое-то душевное умиротворение. Пэры и сановники переглядывались и с удовлетворенным видом кивали друг другу. Король Иоганн Богемский сидел с обычным своим благородно-мечтательным выражением лица, и его холеная каштановая волнистая борода струилась по груди. Граф Вильгельм Добрый и брат его Иоганн Геннегау улыбались английским сеньорам, и те отвечали им улыбкой. И впрямь, до чего же приятно, когда все проходит так гладко.

К чему спорить, ожесточаться, угрожать друг другу, приносить жалобы парламентам, отбирать ленные владения, осаждать города, яростно биться на поле боя, зря расходовать золото, зря проливать кровь рыцарей, зря изнурять людей, тогда как при наличии с обеих сторон доброй воли можно прекрасно договориться, каждый оставаясь при своем.

Король Англии уселся на приготовленный для него трон, стоявший чуть ниже трона короля Франции. Сейчас отслужат мессу, и все будет кончено.

Но казалось, Филипп VI все ждет чего-то; повернувшись к своим пэрам, он искал взглядом Робера Артуа, что, впрочем, было не так уж трудно, ибо корона его возвышалась над всеми прочими.

А сам Робер не подымал глаз. Хотя в соборе после улицы веяло благодатной свежестью, он по-прежнему обливался потом и то и дело отирал лицо алой перчаткой. Но сердце его билось как сумасшедшее. Не замечая, что намокшая от пота перчатка линяет, он размазал краску по лицу, и казалось, будто по щеке его стекает кровь.

Вдруг он поднялся со своего сиденья. Пришла пора решиться.

– Сир, – вскричал он, подойдя к трону Филиппа VI, – коль скоро здесь собрались все ваши вассалы...

Миль де Нуайе с епископом Бергершем как раз вели между собой беседу, и их твердые звучные голоса отдавались в каждом уголке собора. Но когда раскрыл рот Робер Артуа, всем показалось, будто это не люди говорят, а чирикают воробьи.

– ...и коль скоро вам надлежит творить праведный суд, – продолжал гигант, – я обращаюсь к вам, требуя справедливости.

– Сеньор Бомонский, мой кузен, кто же причинил вам ущерб? – с важностью спросил Филипп VI.

– Ущерб мне причинил, государь, ваш вассал, графиня Маго Бургундская, которая незаконно, хитростью и предательством захватила титулы и владения графства Артуа, кои принадлежали мне по праву предков моих.

Тут раздался столь же мощный трубный глас:

– Так я и знала!

Это изволила разжать уста Маго Артуа.

По рядам собравшихся здесь пэров и баронов прошло движение, но, в сущности, никого не ошеломил, а просто удивил начавшийся спор. Робер поступил точно так же, как граф Фландрский во время коронования Филиппа VI. Казалось, на глазах присутствующих рождался новый обычай, в силу коего ущемленный в своих интересах пэр норовил принести жалобу именно на самом торжественном сборище и, несомненно, с предварительного согласия короля.

Герцог Эд Бургундский вопросительно взглянул на свою родную сестру, королеву Франции, которая ответила ему таким же взглядом и даже руки развела, как бы желая сказать, что сама первая изумлена не меньше брата и что все это и для нее тоже неожиданность.

– Кузен мой, – продолжал Филипп VI, – можете ли вы представить бумаги и свидетельства, дабы подтвердить ваши права?

– Могу, – твердо ответил Робер.

– Не может он, он лжет! – крикнула Маго. Она тоже подошла к королю и встала рядом с племянником.

Как же они были похожи, Робер и Маго, особенно сейчас, оба в золотых коронах, в одинаковых мантиях, распаленные гневом, оба с налитыми кровью бычьими шеями! Маго, эта великанша-воительница, как и подобает пэру Франции, прицепила к поясу огромный меч с золотой чашкой. Доводись она родной матерью Роберу, и тогда вряд ли бы так разительно проступило их родственное сходство.

– Насколько я понимаю, любезная тетушка, – продолжал Робер, – вы отрицаете, что в брачном контракте высокородный граф Филипп Артуа, мой батюшка, сделал меня, своего первенца, прямым наследником графства Артуа и что, воспользовавшись тем, что мой батюшка скончался, когда я был еще несмышленным ребенком, вы ограбили меня.

– Отрицаю каждое ваше слово, дурной племянник, вы просто хотите меня опозорить.

– Значит, вы отрицаете, что брачный контракт вообще существовал?

– Отрицаю! – взревела Маго.

Неодобрительный шепот слышался во всех углах собора, но особенно отчетливо прозвучало возмущенное «ох!» старика графа Бувилля, бывшего камергера Филиппа Красивого. Хотя вряд ли кто имел столько веских оснований, сколько граф Бувилль, хранитель чрева королевы Клеменции, когда она была в тягости Иоанном I Посмертным, знать, на что способна Маго, хотя вряд ли кому было известно так же хорошо, как ему, сколь искусна Маго во лжи и сколь хладнокровно идет она на любое преступление, было очевидно, что тут уж она бесстыдно отрицает истинную правду. Между отпрыском Артуа, принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии<sup>11</sup>, и дочерью бретонских сеньоров не мог не быть заключен брачный контракт, который к тому же своей подписью скрепили тогдашние пэры и сам король. Герцог Жан Бретонский разъяснил это своим соседям. На сей раз Маго зарвалась. Пускай бы она по-прежнему, как на двух предыдущих процессах, ссылалась на старинные законы графства Артуа, которые были ей на руку после преждевременной кончины ее брата, пускай! Но отрицать, что существовал брачный контракт, – это уж слишком. Тем самым она подтверждала подозрения на собственный счет – ясно, уничтожила все бумаги!

Филипп VI обратился к епископу Амьенскому:

– Монсеньор, соблаговолите принести Святое Евангелие и пригласить жалобщика...

После короткой, но многозначительной паузы он добавил:

– ...равно как и ответчицу.

И когда Евангелие было принесено, король заговорил снова:

– Согласны ли вы, как один, так и другая, вы, мой кузен, и вы, моя кузина, подтвердить слова ваши, поклявшись на Святом Евангелии пред лицом вашего государя и всех королей, наших родичей, и перед лицом всех собравшихся здесь пэров?

Он, Филипп, был воистину величествен, произнося эти слова, и сын его, десятилетний принц Иоанн, чуть не задохнувшийся от восхищения, смотрел на отца, вытаращив глазенки и широко раскрыв рот. Зато у королевы Франции, Жанны Хромоножки, заметно тряслись руки и вокруг рта залегли недобрые складки. Дочь Маго, Жанна, вдова Филиппа Длинного, тонкая и иссохшая, побледнела так, что лицо ее слилось с белоснежным одеянием, которое положено носить вдовствующим королевам. И побледнела также внучка Маго, юная герцогиня Бургундская, побледнел и супруг ее, герцог Эд. Казалось, еще минута – и все они дружно бросятся вперед, чтобы удержать Маго от клятвопреступления. В наступившем молчании все жадно тянули вперед шеи.

– Пусть будет так! – в один голос воскликнули Маго и Робер.

– Снимите перчатки, – обратился к ним епископ Амьенский.

Маго явилась на церемонию в зеленых перчатках, но и они тоже полиняли от жары. Так что когда над Евангелием простерлись две могучие длани, одна была алая, как кровь, другая зеленая, как желчь.

– Клянусь, – начал Робер, – что графство Артуа принадлежит мне и что я представлю письма и свидетельства, подтверждающие мои права на владение!

– Дорогой племянничек, – воскликнула Маго, – осмелитесь ли вы принести клятву в том, что видели эти письма или держали их в руках?

Две пары серых глаз мерились злобным взглядом, и чуть не касались друг друга два обложенных жиром подбородка. «Ох, шлюха, – думал Робер. – Значит, ты и впрямь украла письма!» Но так как в подобных обстоятельствах следовало вести себя решительно, Робер четко произнес:

---

<sup>11</sup> ...принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии... – Всех членов королевской семьи Капетингов называли лилейными принцами, потому что их герб представлял собой усеянное поле Франции, то есть золотые лилии на лазурном фоне с обрамлением, варьирующимся в зависимости от их уделов и ленов.

– Да, клянусь! А вот вы, дражайшая тетушка, осмелитесь ли вы принести клятву в том, что такие письма никогда не существовали, что вы никогда ничего о них не знали и не держали их в собственных руках?

– Клянусь! – ответила Маго столь же решительно и взглянула на Робера с той же ненавистью, с какой глядел на нее он.

По сути дела, в этом поединке никто не выиграл ни одного очка. Чаши весов не дрогнули, не склонились ни в ту ни в другую сторону, хотя на каждой лежал немалый груз лжи и клятвопреступлений, на которые оба вынуждены были пойти.

– Завтра будут назначены люди, которые поведут расследование, чтобы восторжествовала королевская справедливость. Кто солгал, того покарает Бог, кто сказал правду, будет утвержден в своих правах, – проговорил Филипп и махнул рукой епископу, приказывая унести Евангелие.

Господу Богу вовсе не обязательно вмешиваться в людские дела, дабы покарать клятвопреступников, и Всевышний спокойно может продолжать безмолвствовать. Дурные души в себе самих носят семя собственных бед.

## Часть вторая Игры дьявола

### Глава I Свидетели

Еще только-только набиравшаяся соков, величиной с пальчик, свисала со шпалеры груша.

А на каменной скамье сидели трое: посередине старик граф де Бувилль, а по обе стороны допрашивавшие его – рыцарь де Вильбрем, облеченный доверием короля, по правую руку и по левую – нотариус Пьер Тессон, записывавший показания свидетеля. Огромный куполообразный череп Тессона казался еще внушительней, ибо его венчала рогатая шапка, из-под которой свисали прямые пряди волос; нос у него был заостренный, подбородок неестественно длинный и тоже острый, так что в профиль нотариус походил на серпик молодого месяца.

– Ваша светлость, могу ли я прочесть вам ваши показания? – почтительно обратился он к Бувиллю.

– Читайте, мессир, читайте, – согласился тот.

А сам, протянув руку, нащупал зеленую грушу, сжал ее в пальцах, проверил, скоро ли нальется она соком... «Надо бы сказать садовнику, чтобы он подвязал ветку», – подумал он.

Нотариус нагнулся над бумагами, разложенными у него на коленях, и начал:

– *«Дня семнадцатого месяца июня года тысяча триста двадцать девятого, мы, Пьер де Вильбрем, рыцарь...»*

Король Филипп VI не любил мешкать. Уже через два дня после скандала в Амьенском соборе, где торжественно принесли клятву Маго и Робер, король назначил особую комиссию и поручил ей произвести расследование; не прошло и недели после возвращения королевской фамилии в Париж, как расследование уже началось.

– *«...и мы, Пьер Тессон, королевский нотариус, выслушали...»*

– Мэтр Тессон, – перебил читающего Бувилль, – не вы ли тот самый Тессон, который раньше состоял при доме его светлости Робера Артуа?

– Тот самый, ваша светлость.

– А значит, нынче вы королевский нотариус? Примите мои поздравления, блестящая карьера, блестящая...

Бувилль чуть выпрямился на скамье, сложил руки на округлом своем брюшке. Надето на нем было потертое бархатное одеяние, слишком длинное на нынешний вкус и уже давно вышедшее из моды, такие носили еще во времена Филиппа Красивого, а теперь граф донашивал его, когда ему припадала охота заняться садом. Слушая чтение, он вертел большими пальцами – три раза в одну сторону и три раза в другую. День обещал быть прекрасным и жарким, но в утреннем воздухе еще держалась ночная прохлада...

– *«...выслушали высокородного и могущественного сеньора, графа Юга де Бувилля, и слушание это происходило во фруктовом его саду при его же доме, расположенном неподалеку от Пре-о-Клер».*

– А знаете, совсем все изменилось с тех пор, как мой покойный батюшка поставил здесь этот дом, – вдруг заговорил Бувилль. – В его время по соседству, на всем протяжении от аббатства Сен-Жермен-де-Пре до Сент-Андре-дез-Ар, всего только три отеля стояли: Нельский, на берегу реки, вон там в глубине отель Наваррский и второй дом графов Артуа, загородный, потому что вокруг только одни луга да поля были... А посмотрите-ка, сколько сейчас всего



понастроили!.. Все, кто на наших глазах сколотил себе состояние, лезут сюда, им, видите ли, здесь приспичило селиться; проселочные дороги и те в городские улицы превратились. Раньше, бывало, выгляну через ограду, и кругом одна зелень, а теперь кругом одни крыши, их-то я еще могу разглядеть, хоть зрение у меня затуманилось. А шуму-то, шуму! Подумать только, в этих местах – и такой шум! Живу будто в Сите, на самом бойком месте. Будь у меня впереди еще хоть несколько лет, продал бы я этот дом и построил бы себе новый где-нибудь в сторонке. Но в том-то и беда...

И снова его рука почти вслепую нащупала маленькую зеленую грушу, свисавшую с ветки как раз над самой его головой. Только одно – ждать, когда груша эта созреет, – вот и все, на что он смел надеяться в свои годы, вот и все его дальние планы, которыми он мог себя тешить. В последнее время он начал терять зрение. На все окружающее, на людей, на деревья он смотрел теперь словно бы сквозь плотный слой воды. Быть человеком деятельным, важной персоной, разъезжать, заседать в Королевских советах, участвовать во всех важнейших государственных событиях, а кончить свои дни в этом саду, когда глаза застилает пелена, мысли медленно ворочаются в голове, одинокому, забытому всеми, разве что порой людям помоложе придет надобность прибегнуть к его памяти...

Мэтр Пьер Тессон и рыцарь де Вильбрем тоскливо переглянулись. Ох и трудно же с этим свидетелем, с этим старым графом Бувиллем, все время он переводит разговор на другое, бубнит о том, что и без него всем давно известно, но человек он слишком благородного происхождения и слишком уже стар, так что торопить его негоже. Нотариус снова взялся за чтение:

– *«...который и сообщил нам собственными своими устами все ниженаписанное, а именно: что в бытность свою камергером государя нашего Филиппа Красивого, прежде чем тот взойшел на престол, он ознакомился с брачным контрактом, заключенным между его светлостью покойным Филиппом Артуа и мадам Бланкой Бретонской, и что держал сей контракт в руках, и что в вышеупомянутом контракте было ясно написано, что графство Артуа переходит по праву наследования к вышеупомянутому его светлости Филиппу Артуа и после него его наследникам мужеска пола, родившимся от этого брака...»*

Бувилль махнул рукой:

– Ничего я такого не утверждал. Как я вам уже говорил и как сообщал его светлости Роберу Артуа, когда он недавно у меня был: контракт-то я в руках держать держал, но, говоря по совести, не помню, чтобы я его прочел.

– А для чего же тогда, ваша светлость, вы держали этот контракт в руках, разве не для того, чтобы его прочесть? – спросил рыцарь Вильбрем.

– Нет, для того, чтобы передать контракт канцлеру моего государя, чтобы тот скрепил его своей печатью, это-то я помню хорошо, контракт был покрыт печатями всех пэров, а пэром был и мой государь Филипп Красивый, как старший королевский сын и первый претендент на французский престол.

– Запишите это, Тессон, – приказал Вильбрем. – Стало быть, все пэры приложили свои печати... Даже если вы, ваша светлость, не читали брачного контракта, вы все равно знали, что по наследству Артуа переходит графу Филиппу и его наследникам мужеска пола?

– Слышать-то я об этом слышал, – отозвался Бувилль, – но ничего другого удостоверить не могу.

Его, Бувилля, раздражала манера молодого Вильбрема вести расследование, всякий раз вытягивая из него больше, чем он намеревался сказать. Да он, этот мальчишка, еще на свет божий не родился, куда там, даже папаша его и не думал, что зачнет такого, когда происходили все те события, о которых его сейчас расспрашивают! Вот они, эти государевы чиновнички, надавали им новых должностей, и они пыжались, как индюки. Ничего, в один прекрасный день и они тоже будут сидеть в своем саду под шпалерой, старенькие, всеми забытые... Да, Бувилль помнил, что было занесено в брачный контракт Филиппа Артуа. Но когда, когда он об этом

впервые услышал? Перед самым бракосочетанием, в 1282 году, или, может быть, в 1298-м, когда граф Филипп скончался от ран, полученных в битве при Вёрне? Или еще позже, когда старый граф Робер II пал в битве при Куртре, другими словами, в 1302 году, пережив сына на четыре года, вот тогда-то и началась тяжба между его дочерью Маго и его внуком, теперешним Робером III...

А теперь от Бувилля требуют, чтобы он, сосредоточившись мыслию, соотнес бы это событие с какой-нибудь определенной датой, а поди установи ее, когда прошло более двадцати лет. Да не один только нотариус Тессон и этот мессир Вильбрём примчались к нему в надежде расшевелить его память, но и его светлость Робер Артуа собственной персоной соизволил сюда явиться; вел он себя в высшей степени любезно и почтительно, что правда, то правда, а все-таки орал во всю глотку, размахивал, по обыкновению, руками и потоптал в саду своими сапожищами цветочные клумбы.

– Стало быть, уточним, – проговорил нотариус, перечеркнув что-то в своей писанине. – *«...и хотя держал он вышеупомянутый брачный контракт в руках своих, но держал недолго, и он помнит также, что контракт был скреплен печатями двенадцати пэров Франции; и еще граф Бувилль сообщил нам: он слышал в те времена, что в вышеупомянутом контракте было с точностью записано, что графство Артуа...»*

Бувилль кивнул в подтверждение этих слов. Он, конечно, предпочел бы, чтобы такие выражения, как «в те времена», «слышал в те времена», которые нотариус почему-то приписал ему самолично, вообще в этот документ не попали. Но он устал от борьбы. Да и имеет ли уж такое значение одно-два лишних слова?

– *«...перейдет к его прямым наследникам мужеска пола, родившимся от брака сего; и еще он удостоверил перед нами, что контракт был помещен на хранение в архивы королевского двора, и еще он считает достоверным, что контракт впоследствии был похищен из вышеупомянутого хранилища по приказанию мадам Маго Артуа и с помощью различных хитростей...»*

– Да я ничего этого и не говорил, – заметил Бувилль.

– Прямо вы этого не сказали, ваша светлость, – согласился Вильбрём, – но это следует из ваших показаний. Вспомним, что вы утверждали: во-первых, брачный контракт существовал; во-вторых, вы сами его видели; в-третьих, он был положен на хранение в архивы... скрепленный печатями пэров...

Вильбрём снова обменялся с нотариусом тоскливым взглядом.

– Скрепленный печатями пэров, – повторил он, желая подольститься к свидетелю. – Вы заверяли также, что по этому контракту мадам Маго отстранялась от наследования и что контракт исчез из хранилища, с тем чтобы он не мог быть представлен на процессе, который его светлость Робер Артуа начал против своей тетки. Кто же еще, по-вашему, мог похитить? Уж не считаете ли вы, что это было сделано по приказу короля Филиппа Красивого?

Вопрос коварнейший! Ведь ходили же упорные слухи, будто Филипп Красивый, желая одарить тещу двух младших своих сыновей, оказал давление на судей, дабы те вынесли решение в ее пользу. Скоро начнут, пожалуй, кричать на всех перекрестках, что, мол, самому Бувиллю и было приказано выкрасть бумаги!

– Прошу вас, мессир, не упоминайте имени моего государя, короля Филиппа Красивого, в связи с такими грязными делами, – с достоинством отозвался старик.

Над крышами и кронами деревьев пронесся звон колоколов с колокольни Сен-Жермен-де-Пре. Бувилль вдруг вспомнил, что как раз в это время ему приносят миску творога, – это лекарь посоветовал ему трижды в день есть творог.

– Итак, – продолжал Вильбрём, – брачный контракт, следовательно, был похищен без ведома короля... А кто же еще был заинтересован в исчезновении бумаг, как не графиня Маго?

При каждом слове молодой королевский посланец многозначительно постукивал кончиками пальцев по каменной скамье – так нравились ему собственные, казалось бы, неопровержимые рассуждения.

– О конечно, – вздохнул Бувилль. – Маго на все способна.

В этом он имел возможность убедиться не со вчерашнего дня. Он сам знал за Маго два преступления, и куда более серьезных, чем кража каких-то пергаментов. Это она, в том и сомнения быть не может, убила короля Людовика X; это она на глазах у самого Бувилля убила младенца, и житья-то которому было всего пять дней, коль скоро он был наследник престола, родившийся уже после смерти своего отца... и все для того, чтобы не выпустить из рук графство Артуа. Вот уж действительно, стоит ли так щепетильничать и по-глупому бояться погрешить против точности, когда речь идет о такой особе! Конечно, это она похитила брачный контракт своего брата, да еще имеет наглость утверждать, да еще клятву на Евангелии приносит, что такого контракта, мол, вообще никогда не существовало! Чудовище, а не женщина... Из-за нее настоящий наследник королей Франции растет вдали от своего королевства, в каком-то захудалом итальянском городишке, у ломбардского купца, считающего, что это его родной сын... Хватит! Не надо об этом думать. В свое время Бувилль поведал папе эту тайну – тайну, которую знал лишь он один. Не думать об этом, никогда не думать... а то, чего доброго, не удержишься и разболтаешь. А главное, пусть эти двое поскорее убираются прочь!

– Вы совершенно правы, оставьте все так, как вы написали, – проговорил он. – Где мне поставить подпись?

Нотариус протянул перо Бувиллю. Но тот с трудом различал нижний край бумаги. Поэтому самый конец его подписи не попал на лист. И тут рыцарь вдруг услышал старческий шепот:

– Прежде чем она попадет в когти дьявола, пусть свершится воля Господня, и да искупит она грехи свои.

Подпись посыпали песком, чтобы быстрее высохли чернила. Нотариус сложил листки и письменные принадлежности в свой мешок черной кожи, после чего оба исследователя поднялись и распрощались с хозяином дома. Бувилль, сидя, помахал им рукой. Не прошли они и пяти шагов, как превратились для старика в две смутные тени, словно растворившиеся в толстом слое воды.

Бывший камергер Филиппа Красивого схватил стоявший рядом колокольчик и позвонил слуге, чтобы тот нес ему творог. Неотвязные печальные думы теснились в голове. Как мог его столь почитаемый государь, король Филипп Красивый, принять сторону Маго в тяжбе за Артуа, как мог он забыть акт, который сам же раньше и утвердил, как мог не обеспокоиться пропажей этой бумаги? Ах, даже самые лучшие короли на свете совершают не одни прекрасные деяния...

И тут же Бувилль пообещал себе, что в ближайшие дни посетит банкира Толомеи, спросит о Гуччо Бальони... и о ребенке... но вроде между прочим, просто как того требует обычная вежливость. Старик Толомеи почти не подымается с постели. У него, у Толомеи, отказали ноги. Такова жизнь: у одного пропадает слух, у другого застилает глаза, а у третьего отказывают руки или ноги. Прошедшее отмериваешь годами, но будущее осмеливаешься мерить только месяцами или неделями.

«Доживу ли я до тех пор, когда созреет эта груша, смогу ли я сорвать ее?» – подумал граф Бувилль, подняв глаза к шпалере.

Мессир Пьер де Машо, сеньор Монтаржи, был не из тех, кто забывает нанесенную ему обиду, пусть даже обидчика уже давно нет в живых. Его злобу не могла утишить и кончина врага. Его отец, занимавший высокую должность во времена Железного короля, был смещен Ангерраном де Мариньи, отчего значительно пострадало благосостояние семьи. Падение всемогущего Ангеррана Пьер де Машо воспринял как справедливое отмщение за личные свои

невзгоды; самым великим днем его жизни был, да и будет, тот, когда он, конюший короля Людовика Сварливого, вел Мариньи на виселицу. Вел – это, конечно, сказано слишком громко, вернее, сопровождал, да и то не в первом ряду, но среди куда более знатных, чем он, сановников. Годы шли, и большинство тогдашних сеньоров один за другим отправились к праотцам, и вот именно поэтому всякий раз, когда заходила речь об этом памятном кортеже, Пьер де Машо без зазрения совести передвигал себя вперед, оттесняя прочих сопровождающих.

Поначалу он довольствовался рассказом о том, как дерзко мерился взглядом с мессиром Ангерраном, стоявшим на повозке, и сумел-де всем своим видом показать, что любого, кто навредит семейству Машо, как бы высоко он ни вознесся, в скором времени постигнет кара.

Потом память разукрасила прошедшее, и Пьер де Машо стал утверждать, что Ангерран во время своего последнего пути не только узнал его, но и, оборотясь к нему, печально произнес: «Ах, это вы, Машо! Теперь настал час вашего торжества; я причинил вам зло и раскаиваюсь в том».

А сейчас, когда после этого события прошло уже четырнадцать лет, по словам рассказчика выходило, что Ангерран де Мариньи, направляясь к месту казни, обращался с речью только к нему, Пьеру де Машо, и во время следования от тюрьмы до Монфокона излил ему все, что было на душе.

Небольшого росточка, со сросшимися на переносице седыми бровями, с негнувшимся коленом после неудачного падения с лошади на турнире, Пьер де Машо, хоть и знал, что не носить ему больше ни кирасы, ни лат, старательно чистил их и смазывал жиром. Был он столь же тщеславен, сколь и злопамятен, и Робер Артуа, прекрасно это знавший, не поленился нанести ему визит дважды именно для того, чтобы поговорить о том, как скакал Машо бок о бок с повозкой Ангеррана.

– Ну так вот, расскажите-ка все это посланникам короля, они скоро придут сюда и спросят вас как свидетеля по моему делу, – заявил Робер. – Слова такого доблестного человека, как вы, со счета не скинешь; вы откроете глаза королю, и оба мы с ним будем весьма и весьма вам признательны. Кстати, вам выплачивают пенсион за все те услуги, что оказал государству ваш батюшка, да и вы сами?

– Конечно не выплачивают...

Вопиющая несправедливость! Тогда как всякие пролазы, разные горожане во время последних царствований были внесены в списки получающих пособие от французской короны, как же могли забыть столь достойного человека, как мессир де Машо? Ясно, забыли с умыслом, и тут не обошлось без подсказки графини Маго, а ведь, как известно, она была связана с Ангерраном де Мариньи!

Робер Артуа лично проследит за тем, чтобы эта несправедливость была исправлена.

Короче, когда после таких посулов к бывшему конюшему явился рыцарь Вильбрем с неизменным нотариусом Тессоном, хозяин дома с таким же рвением отвечал на вопросы, с каким их ему задавали. Опрос происходил в саду по соседству, как того требовало правосудие, ибо показания должны даваться на открытом месте и на вольном воздухе.

Послушать Пьера де Машо, так казнили Мариньи только накануне.

– Итак, – говорил Вильбрем, – итак, мессир, вы были рядом с повозкой, когда сир Ангерран сошел с нее и направился к виселице?

– Я сам влез на повозку, – отвечал Машо, – и по приказу короля Людовика X спросил осужденного, в каких именно своих преступлениях и ошибках желал бы он покаяться, прежде чем предстать перед Господом нашим.

На самом-то деле такое поручение было дано Тома де Марфонтену, но Тома де Марфонтен уже давно отошел в мир иной...

– И Мариньи продолжал утверждать, что он неповинен в тех деяниях, которые ему ставили в вину на суде, и, однако же, он признал... привожу его собственные слова, вы только

вдумайтесь, сколько в них коварства: «Ради справедливых дел творил дела несправедливые». Тогда я в лоб спросил, каковы же все-таки эти его деяния, и он мне назвал их десятки, к примеру вынудил отставить от должности моего отца, сира Монтаржи, а также похитил из королевского архива брачный контракт покойного графа Артуа в интересах мадам Маго и ее дочерей, невесток короля.

– Ага, значит, это по его приказу изъяли контракт? И он сам в этом признался! – воскликнул Вильбрем. – Это весьма существенно. Записывайте, Тессон, записывайте.

Нотариус не нуждался в понуканиях, он и так строчил с увлечением. До чего же хороший свидетель этот сир де Машо!

– А не знаете ли вы, мессир, – заговорил в свою очередь Тессон, – заплатили ли сирю Ангеррану за это должностное преступление?

Машо на миг задумался, и его седые брови сошлись к переносице.

– А как же, конечно заплатили, – брякнул он. – Потому что я его прямо спросил, получил ли он, как утверждают, сорок тысяч ливров от мадам Маго за то, чтобы суд решил дело в ее пользу. И Ангерран потупил голову в знак согласия и еще от стыда, и вот что он мне ответил: «Молитесь за меня, мессир Машо», а ведь это равносильно признанию.

Тут Пьер де Машо сложил на груди руки с видом торжествующим и презрительным.

– Теперь все ясно, – удовлетворенно вздохнул Вильбрем.

Нотариус записывал последние слова свидетеля.

– А вы уже многих опросили? – поинтересовался бывший конюший.

– Уже четырнадцать человек, мессир, и еще вдвое больше опросим, – пояснил Вильбрем. – Но, слава богу, работа поделена между восемью посланцами короля и двумя нотариусами.

## **Глава II**

### **Расследование ведет сам истец**

Главным украшением рабочего кабинета его светлости Робера Артуа были четыре огромного размера фрески религиозного содержания кисти не слишком искусного мастера, явно отдававшего предпочтение охре и лазури; на фресках этих были изображены фигуры четырех святых, дабы «воспарял дух», как говаривал сам хозяин. С правой стороны святой Георгий поражал копьем дракона; напротив входа святой Морис, тоже покровитель рыцарей, стоял во весь рост в латах и лазурном плаще; в глубине святой Петр все тянул и тянул из моря свои сети; святой Магдалине, предстательнице кающихся грешниц, скрывавшей свою наготу под плащом золотых кудрей, был отведен четвертый простенок. Именно сюда чаще всего любил поглядывать его светлость Робер.

Потолочные балки тоже были выкрашены в охру, желтый цвет и лазурь с вкрапленными кое-где гербами Артуа, Бомона и Валуа. Убранство комнаты завершали столы, покрытые парчой, кофры, на которых в беспорядке валялось роскошное оружие, и массивные железные позолоченные канделябры.

Робер поднялся с широкого кресла и вручил нотариусу черновики допросов, которые проглядывал с чувством живейшего интереса.

– Славно, очень славно, славные бумажки, – заявил он, – особенно хороши показания мессира де Машо, чувствуется, что вылились прямо из души, и очень кстати дополняют слова графа Бувилля. Нет, решительно вы большой искусник, мэтр Тессон Клязник, и я ничуть не жалею о том, что, так сказать, взрастил вас в этом качестве. Под вашей постной личиной кроется подлинное коварство, о каковом и мечтать не смеют многие наши пустоголовые законники из парламента. Правда, надо признать, что Господь Бог наградил вас неплохим вместилищем для ваших мозгов.

Нотариус с угодливой улыбкой склонил свою неестественно крупную голову под рогатой шапкой, напоминавшую огромный черный капустный кочан. Сдобренные немалой долей иронии, похвалы его светлости Артуа, возможно, сулят в будущем повышение по служебной лестнице.

– Это весь ваш улов? А других новостей вы мне нынче не сообщите? – добавил Робер. – Да, как, кстати, дела с бывшим бальи Бетюна?

Тяжба – такая же страсть, как карточная игра. Робер Артуа жил только своим будущим судебным процессом, думал и действовал в зависимости от хода дел. За последние две недели единственным смыслом его существования стал сбор свидетельских показаний. От зари до самого вечера он ломал себе над этим голову и ночами, бывало, просыпался, пробужденный ото сна внезапно мелькнувшей мыслью, звонил своему слуге Лорме и спрашивал, когда тот появлялся полусонный и надутый:

– А скажи-ка, старый храпун, это не ты ли говорил мне недавно о некоем Симоне Дурене или Дурье, который был нотариусом у моего деда? Не знаешь, жив он или нет? Попытайся завтра же разузнать.

Во время мессы, которую он слушал неукоснительно каждое утро благоприличия ради, он вдруг ловил себя на том, что возносит Господу мольбу об удачном окончании тяжбы. И от жарких молений он как-то невольно обращался мыслью к своим махинациям и во время чтения Евангелия шептал про себя: «А этот самый Жиль Фламандец, бывший раньше конюшим у Маго, которого она прогнала за какие-то неблагоприятные делишки... Вот кто, верно, мог бы выступить свидетелем в мою пользу. Только бы не забыть!»

Никогда еще он с таким рвением не трудился в Совете; ежедневно просиживал по несколько часов в суде, и при виде его каждому приходила мысль, что сей муж всего себя отдал на благо государства; но делалось это лишь ради того, чтобы сохранить свое влияние на Филиппа VI, стать для него незаменимым, а главное, наблюдать за тем, чтобы на нужные должности назначались только люди по личному его, Робера, выбору. Он пристально следил за решениями суда, надеясь почерпнуть в них какую-нибудь подходящую мыслишку. А на все прочее ему было наплевать.

Пусть в Италии гвельфы и гибеллины продолжали уничтожать друг друга, пусть Адзо Висконти приказал убить своего дядю Марко и укрепил город Милан, осажденный войсками императора Людвига Баварского, а в то же время Верона, Виченца, Падуа, Тревизо не желают подчиняться папе, ставленнику Франции, – обо всем этом Робер знал, слышал, но тут же выкидывал из головы.

Пусть в Англии партия королевы Изабеллы испытывала трудности, а непопулярность Роджера Мортимера с каждым днем все возрастала, его светлость Робер Артуа только плечами пожимал. В эти дни помыслы его меньше всего занимала Англия, равно как и фландрские суконщики, которые ради торгашеских своих барышей множат связи с английскими мануфактурщиками.

Но зато если мэтр Андрие из Флоренции, каноник-казначей города Буржа, еще не получил новых церковных бенефиций или если рыцарь Вильбрем еще не перешел в Фискальную палату, вот это действительно важно и не терпит отлагательств. Потому что мэтр Андрие и рыцарь Вильбрем входят в число восьми лиц, назначенных для сбора свидетельских показаний к будущему судебному разбирательству.

Кандидатуры эти Робер сам предложил Филиппу VI, более того, сам их подобрал... «А что, если нам назначить Бушара де Монморанси? Он нам всегда верно служил... А что, если назначить Пьера де Кюньера? Он и впрямь человек осмотрительный и пользуется всеобщим уважением...» И точно так же происходило назначение нотариусов, а в числе их Пьера Тессона, который целых двадцать лет был тесно связан с домом Валуа, а потом и с домом Робера.

Впервые в жизни Пьер Тессон почувствовал себя столь значительной персоной; впервые в жизни с ним обращались так дружески, так фамильярно, и все это подкреплялось штуками материи для туалетов его супружницы и маленькими мешочками с золотыми монетами для него самого. Тем не менее Тессон выдохся, да и силы его уже иссякали, так как Робер обладал способностью не давать своим людям ни отдыха, ни срока.

Прежде всего его светлость Робер почти все время находился на ногах. Без остановки он вышагивал по своему кабинету между изображениями четырех святых. Мэтру Тессону было неприлично сидеть в присутствии столь важной особы, как пэр Франции. А ведь нотариусы привыкли работать сидя. Мэтру Тессону приходилось держать свой черный кожаный мешок в руках, что стоило немалого труда, а положить его на эти парчовые скатерти он не решался и все так же на весу вытаскивал из него нужные документы, поэтому не мудрено, что он опасался нажать себе к концу тяжбы на всю жизнь болезнь поясницы.

– Я виделся с бывшим бальи Гийомом де ла Планш, находящимся ныне в тюрьме Шатле, – сказал он в ответ на вопрос Робера. – Дама Дивион уже навестила его раньше; он дает как раз те свидетельские показания, что нужны нам. Он просит, чтобы вы не забыли замолвить за него словечко перед мессиром Милем де Нуайе, так как попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица<sup>12</sup>.

– Я прослежу, чтобы его выпустили, пускай спит спокойно. А вы выслушали Симона Дурье?

– Нет еще, ваша светлость, но вскоре выслушаю. Он готов заявить перед всеми, что присутствовал при том, как в тысяча триста втором году граф Робер Второй, ваш дед, перед самой кончиной продиктовал письмо, где подтверждалось ваше право на владение графством Артуа.

– Ага! Чудесно, ну просто чудесно!

– Я ему пообещал, что вы возьмете его к себе в дом и будете выплачивать ему необходимое пособие.

– А за что его прогнали? – осведомился Робер.

Нотариус сделал весьма выразительный жест, означавший, что Дурье, мол, был нечист на руку.

– Подумаешь! – воскликнул Робер. – Да с тех пор он успел состариться и, надо полагать, раскаяться в своих грехах! Дам ему сто ливров в год, каморку и штуку сукна.

– Манесье де Лануа подтвердил, что похищенные письма сожгла мадам Маго... Надо полагать, вам известно, что дом его будет продан с торгов – он задолжал ломбардцам, и, ежели благодаря вам у него будет кров над головой, он делом докажет свою признательность.

– Что ж, у меня душа добрая, только не все это еще знают, – отозвался Робер. – Но вы ничего не сообщили мне о Жювиньи, бывшем слуге Ангеррана.

Нотариус с виноватым видом потупил голову.

– Ничего я от него не добился, – проговорил он, – уперся, твердит, что знать ничего не знает и ничего, мол, не помнит.

– Как так? – возопил Робер. – Я сам был в Лувре и собственными глазами видел, как он являлся за пособием, хотя за что бы ему вообще платить? И даже разговаривал с ним. А он теперь уперся и уверяет, что ничего не помнит? Послушайте, а нельзя ли его допросить с пристрастием, а? При виде пыточных клещей он, будем надеяться, скажет правду.

---

<sup>12</sup> ...попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселица. – Гийом де ла Планш, бальи Бетюна, потом Кале, находился в тюрьме за поспешную казнь некоего Тассара Пса, которого он собственным произволом приговорил волочь по земле и повесить. Жанна Дивион навестила его в тюрьме и пообещала, что если он даст показания в том смысле, который она ему укажет, то граф д'Артуа вытащит его из тюрьмы, заставив вмешаться Миля де Нуайе. Однако во время проверочного допроса Гийом де ла Планш отрекся от своих слов и заявил, что давал показания лишь «из страха перед угрозами и из боязни остаться в тюрьме очень надолго и умереть там, отказавшись повиноваться монсеньору Роберу, такому великому, такому могущественному и такому близкому к королю».



– Пытать, ваша светлость, – печально отозвался нотариус, – пытать разрешено только подсудимых, а свидетелей пока еще не пытаются.

– Тогда дайте ему знать, что пособие ему выплачиваться не будет, ежели к нему не вернется память. У меня, конечно, душа добрая, но пусть и мне добром платят.

Робер схватил со стола бронзовый подсвечник весом не меньше пятнадцати фунтов и снова зашагал по комнате, играючи перебрасывая подсвечник из правой руки в левую. Глядя на него, нотариус печально подумал о несправедливости Всевышнего, одаривающего физической силой людей, которым сила эта нужна лишь для забав, и обделяющего ею злосчастных нотариусов, которые вынуждены целыми днями таскаться со своим увесистым мешком из черной кожи.

– А не опасаетесь ли вы, ваша светлость, что Жювиньи, лишившись королевского пособия, получит его из рук мадам Маго?

Робер круто остановился.

– Маго? – вскричал он. – Да она же сейчас ничто, забилась в угол, всего боится. Ее никто в последние дни при дворе и не видел. Засела дома, трясется от страха, потому как знает: пришел ее конец.

– Дай-то бог, дай-то бог, ваша светлость. Кто спорит, дело наше правое, но просто так тяжбу не выиграешь, тут еще кое-какие препятствия следовало бы устранить...

Тессон замаялся, и не потому, что его страшила гневная вспышка Робера Артуа, которая неизбежно последует за его словами, а потому, что тяжеленный мешок совсем оттянул ему руку. Скажешь, и придется еще пять, а то и десять минут стоять чуть ли не навывтяжку.

– Меня поставили в известность, – решил он наконец, – что, хотя наши люди побывали в Артуа, там их опередили – свидетелей допрашивали не мы. Кроме того, все это время между отелем мадам Маго и Дижоном непрерывно снуют посланцы. Многие видели, как в отель к ней входят гонцы в ливреях бургундского дома...

Ясно, Маго пытается расставить силки с помощью герцога Эда, коль скоро при дворе бургундская партия пользуется поддержкой королевы.

– Верно, зато король за меня, – заявил Робер. – Нашей шлюхе пришел конец, уж поверьте мне, Тессон.

– И все же было бы лучше, ваша светлость, предъявить бумаги, потому что без бумаг... Любым словам всегда можно противопоставить другие слова... И чем раньше мы это сделаем, тем лучше...

Нотариус настаивал не зря, у него были на то свои личные причины. Натаскать десяток свидетелей, вымогать у них показания – у кого угрозами, у кого посулами – это, конечно, хорошо, и любой нотариус может на таком деле обогатиться, но может также угодить в тюрьму Шатле, а то и на колесо... А Тессону отнюдь не улыбалось разделить судьбу бывшего бальи Бетюна.

– Да будут вам бумаги, будут! И скоро будут, я вам говорю! Уж не воображаете ли вы, что их так легко достать!.. Кстати, Тессон, – вдруг прервал он себя и ткнул пальцем в черный кожаный мешок, – помните, записывая свидетельские показания графа Бувилля, вы указали, что брачный контракт был скреплен подписями и печатями двенадцати пэров. Почему вы так написали?

– Потому, ваша светлость, что так сказал свидетель.

– Ах так... Это очень, очень важно, – раздумчиво протянул Робер.

– Чем же именно, ваша светлость?

– Чем? А тем, что я жду другую копию брачного контракта, из архивов Артуа, мне должны ее вручить... и, сказать откровенно, вручить не даром... Если там не значатся имена двенадцати пэров, бумажка ни на что не будет годна. А кто в те времена был пэром? Насчет

герцогов и графов узнать – дело пустое, а вот кто из князей церкви был тогда пэром? Видите, как нужно быть внимательным ко всем мелочам!

Нотариус вскинул на Робера испуганно-восхищенный взгляд:

– А знаете, ваша светлость, не будь вы столь важным сеньором, из вас вышел бы самый искусный нотариус во всем французском государстве! Не в обиду это вам будет сказано, ваша светлость, не в обиду!

Робер позвонил слуге, чтобы тот проводил посетителя. Не успел еще нотариус переступить порог, как Робер направился к маленькой дверце, помещавшейся как раз между лаяками святой Магдалины – эта декоративная деталь очень его забавляла, – и бегом пустился в спальню своей супруги. Тут, разогнав всех придворных дам, он спросил:

– Жанна, добрая моя подруга, драгоценная моя графиня, дайте знать даме Дивион, чтобы она прекратила писать брачный контракт: сначала нужно узнать имена двенадцати пэров в восемьдесят втором году. Вы знаете, кто были они? Так вот, я тоже не знаю! И где бы это раз-узнать, только потихоньку, без шума? Эх, сколько времени зря потеряно! Сколько зря потеряно времени!

Графиня де Бомон не спускала с мужа своих красивых ясных голубых глаз, легкая улыбка тронула ее губы. Как и всегда, ее великан муж нашел еще одну причину для волнения.

– В Сен-Дени, любимый мой супруг, в Сен-Дени, – спокойно ответила она, – в архивах аббатства. Там мы, безусловно, найдем имена всех пэров. Я сейчас пошлю туда брата Анри, моего духовника, пусть скажет, что он, мол, начал ученые изыскания...

Широкое лицо Робера вдруг просияло выражением веселой нежности, радостной благодарности.

– А знаете ли, душенька моя, – проговорил Робер, отвешивая супруге поклон с тяжело-весной грацией, – знаете ли, что, не будь вы столь высокопоставленной дамой, из вас вышел бы самый искусный нотариус во всем французском государстве!

Супруги обменялись улыбкой, и в глазах Робера графиня де Бомон, урожденная Жанна Валуа, прочла обещание посетить нынче вечером ее ложе.

## Глава III

### Подлог

Человек почему-то всегда считает, что, вступив на путь лжи, он пройдет его быстро и без труда; поначалу легко и даже не без удовольствия обходишь первые препятствия, но вскоре чаща становится все темнее, дорога вдруг пропадает, разбегается на десяток тропок, которые заводят тебя в трясину; при каждом новом шаге спотыкаешься, проваливаешься в ямы, скользишь, злоба затуманивает разум, из последних сил стараешься выкарабкаться, но все напрасно, каждая попытка ведет лишь к новой оплошности.

На первый взгляд нет ничего проще, чем подделать какой-нибудь старинный документ. Берется лист веленовой бумаги, кладется на солнце, чтобы он пожелтел, вываливается в золе; подкупается писец, прицепляется несколько печатей на шелковых шнурках; казалось бы, и времени-то на это много не потребуется, да и расходы не бог весть какие.

Однако Роберу Артуа пришлось на время отказаться от мысли подделать брачный контракт своего отца. И не только из-за того, что требовалось разыскать имена двенадцати пэров, но также и потому, что акт должен был быть составлен на латыни, а ни один даже самый ученый писец не справился бы с этой задачей, так как пришлось бы употреблять устаревшие формулы, применяемые в те времена при заключении браков особ королевской крови. Бывший духовник королевы Клеменции Венгерской, поднаторевший в составлении таких бумаг, что-то медлил – видимо, застрял на вступительных и заключительных фразах, а торопить его опасались, дабы не вызвать лишних подозрений.

А тут еще неприятность – печати.

– Пусть какой-нибудь уличный гравер скопирует старые печати, – решил Робер.

Но те граверы, что вырезывали печати, приносили присягу; обратились к дворцовому граверу, но тот заявил, что невозможно точно воспроизвести печать, что два штампа никогда не совпадут и что опытный глаз эксперта сразу заметит, что печать поддельная, именно по оттиску. А подлинные печати после кончины владельца уничтожают.

Таким образом, требовалось раздобыть старые грамоты, снабженные нужными печатями, отодрать их, что само по себе тоже было делом нелегким, и перенести на подложный документ.

Поэтому-то Робер и присоветовал даме Дивион заняться каким-нибудь менее сложным для подделки документом, однако имеющим столь же важное значение.

Отправляясь 28 июня 1302 года в поход против Фландрии, где ему и суждено было погибнуть, пронзенному двумя десятками копий, старый граф Робер II, безусловно, привел в порядок все свои дела и подтвердил в письме все свои распоряжения, в силу коих его внук, Робер III, утверждался в качестве наследника графства Артуа.

– И это сущая правда, все свидетели это подтверждают, – втолковывал Робер своей супруге. – Симон Дурье вспомнил даже, какие именно вассалы моего деда присутствовали при этом и в каком суде были поставлены печати. Так что мы только восстановим истину!

Симон Дурье, бывший нотариус графа Робера II, сообщил содержание этого письма, конечно в той мере, в какой его сохранила старческая память. Почерк должен был подделывать писец графини де Бомон по имени Дюфур, но Дюфур писал со множеством помарок, да и рука его была известна.

Дама Дивион отправилась в Артуа к некоему Роберу Россиньолю, бывшему писцу Тьерри д'Ирсона, и он переписал текст не простым гусиным пером, а бронзовым, чтобы его собственного почерка никто не мог узнать.

Вот у этого-то Россиньоля, которому в награду за труды посулили оплатить дорогу в Сен-Жак-де-Компостель, куда он желал отправиться по обету, чтобы вымолить себе у святого здоровья, оказался еще и зять, некий Жан Олиет, который, оказывается, умел ловко снимать печати! Нет, решительно, эта семейка была неисчерпаема на таланты! Олиет открыл даме Дивион тайну своего искусства.

А та, возвратясь в Париж, заперлась в опочивальне вместе с графиней де Бомон, а из прислужниц допустили лишь одну Жаннетту, и вот все три женщины с помощью нагретой бритвы и конского волоса, смоченного особой жидкостью, обеспечивающей целостность воска, с превеликим тщанием стали снимать печати со старых документов. Сначала печать разделяли на две половинки, потом одну из половинок нагревали и снова соединяли с другой, вставив между половинками шелковый шнурок или край пергамента заново изготовленного документа. Потом чуть подогревали края восковой печати, дабы уничтожить следы разреза.

Жанна де Бомон, Жанна Дивион и Жаннетта таким образом приложили руку к сорока, если не больше, печатям; ни разу они не работали в одном и том же месте: то запрутся в какой-нибудь комнате отеля Артуа, то в отеле Эгль, а то отправятся в загородный дом.

Иной раз к ним в комнату врывается Робер – посмотреть, как идет дело.

– Опять все мои три Жанны за работой! – умилялся он.

Из трех женщин самой ловкой оказалась графиня де Бомон.

– Женские пальчики, пальчики волшебные, – говаривал Робер, галантно прикладываясь к ручке супруги.

Но уметь отцеплять печати еще не все, надо было раздобывать те печати, в которых по ходу дела возникала нужда!

Печать Филиппа Красивого отыскиали без труда: королевских эдиктов осталось превеликое множество, и имелись они повсюду. Робер достал через епископа д'Эврё письмо, касаю-

щееся его сеньории Конш, достал под тем предлогом, что ему, мол, желательно ознакомиться с этим документом, и так и не вернул его владельцу.

В графстве Артуа дама Дивион пустила своих дружков Россиньоля и Олиета, а также двух служанок, Мари Беленькую и Мари Черенькую, на поиски старинных судебных и сеньоральных печатей.

Вскоре были собраны все печати, за исключением лишь одной, самой необходимой, — печати покойного графа Робера II. Как это ни казалось нелепым, однако именно так обстояло дело: все семейные документы хранились в архивах графства Артуа под неусыпным оком писцов графини Маго, а Робер, который был еще несовершеннолетним в год кончины деда, не имел ни единой бумажонки.

Дама Дивион через какую-то свою родственницу сумела войти в доверие некоего Урсона по прозванию Кривоглазый, у которого имелась грамота покойного графа Робера, скрепленная «доверенной печатью», и который, по-видимому, был не прочь расстаться с ней за три сотни ливров наличными. Мадам Жанна де Бомон десятки раз твердила, что при покупке документов жаться не следует, но в Артуа у Дивион таких денег под рукой не оказалось, а мессир Урсон Кривоглазый, видно человек недоверчивый, не соглашался отдать грамоту в обмен на одни лишь клятвенные заявления о скорой уплате.

Когда Дивион осталась без гроша, она вдруг вспомнила, что у нее есть муж и что живет он не туза в кастелянстве Бетюн. Никогда он особенно не досаждал жене своей ревностью, а сейчас, после того как епископ Тьерри отошел в лучший мир... Дама Дивион помчалась за помощью к оставленному ею супругу. Конечно, теперь в их тайные дела было посвящено слишком много людей, но ничего не попишешь. Денег муж дать в долг не пожелал, но согласился пожертвовать прекрасным конем, на котором некогда блистал на турнирах, и коня этого Дивион всучила в качестве залога мессир Урсону, да еще оставила ему несколько бывших при ней безделушек.

Ох и не щадила же себя эта Дивион! Не считалась ни со временем, ни с трудностями, ни с хлопотами, ни с разъездами. И языком поработала вовсю... А главное, следила, чтобы ничего не спутать и не забыть; теперь на ночь она клала ключи себе под подушку.

Сведенными от страха пальцами срезала она бритвой печать покойного графа Робера. Ведь плачено за нее целых триста ливров! А где найти такую вторую, если, на беду, она ее испортит?

Его светлость Робер Артуа начинал потихоньку терять терпение, потому что все свидетели были теперь допрошены и король уже несколько раз осведомлялся, конечно весьма мило, якобы из чистого любопытства, скоро ли будут представлены бумаги, в существовании которых поклялся его зять.

Ну, теперь осталось потерпеть еще два дня, еще один день, и его светлость Робер будет доволен!

## **Глава IV**

### **В Рейи собирают гостей**

В летнюю пору, когда выпадали свободные от королевской службы и от возни с собственной тяжбой дни, Робер Артуа предпочитал на конец недели уезжать в Рейи, где находился замок его супруги, доставшийся ей по наследству от Карла Валуа.

Луга и леса опоясывали замок кольцом восхитительной прохлады. Здесь Робер держал своих охотничьих соколов. Летняя резиденция графа кишела людьми, ибо многие юноши благородного происхождения, ждавшие посвящения в рыцари, селились у Робера, кто в качестве пажа, кто виночерпия, а кто и просто слуги. Тот, кому не удавалось попасть в свиту короля, пытался с помощью своих влиятельных родичей попасть в свиту графа Артуа, а раз попав, ста-

рались перещеголять один другого в рвении. Держать поводья коня его светлости, подать ему кожаную перчатку, на которую усядется красавец сокол, поставить перед ним столовый прибор, лить из кувшина воду на его огромные ручки – все это подвигало юношей, хоть и немного, но подвигало по иерархической лестнице французского государства, а потянуть поутру за угол подушку, чтобы разбудить ото сна Робера III, – это было почти равносильно тому, как если бы вы разбудили самого Господа Бога, коль скоро его светлость, как было известно всем, самолично вершил дела при французском дворе.

В эту субботу, первую субботу сентября, Робер пригласил к себе в Рейи кое-кого из своих друзей-сеньоров, в том числе сира де Бреси, рыцаря Анжеса и архидиакона Авраншского и даже полуслеплого старика графа де Бувилля, которого доставили в замок на носилках. Для любителей раннего вставания предлагалась соколиная охота.

А пока что гости собрались в зале правосудия, где сам хозяин в домашнем костюме сидел, небрежно раскинувшись в креслах. Здесь же присутствовала его супруга, графиня де Бомон, а также нотариус Тессон, уже разложивший на столе свои письменные принадлежности и перья.

– Добрые мои сирь, дорогие мои друзья, – начал Робер, – я пригласил вас сюда, чтобы попросить у вас совета.

Редко какой человек не почувствует себя польщенным, услышав, что от него ждут совета... Юные пажи разносили гостям полагающиеся перед обедом напитки, вино с корицей, засахаренные фрукты с пряностями и очищенный миндаль в золоченых кубках. Двигались они бесшумно, исполняли свои обязанности безукоризненно; они слушали во все уши и глядели во все глаза – все, что здесь происходит, войдет в сокровищницу их воспоминаний, и когда-нибудь они будут рассказывать своим внукам: «В тот день я был у его светлости Робера; туда приехал также граф де Бувилль, тот самый, что был камергером при короле Филиппе Красивом...»

Робер рассказывал спокойно, обстоятельно: некая дама Дивион, которую он почти не знает, предложила передать ему письмо, которое ей вместе с прочими документами досталось от епископа Тьерри д'Ирсона... чьей подружкой она была, добавил Робер, доверительно понизив голос. Так вот, эта самая Дивион, как и следовало ожидать, требует денег – все такие дамочки одним миром мазаны! Но документ, по-видимому, важный. Тем не менее, прежде чем его приобрести, Робер хотел бы удостовериться, что его не морочат, что письмо это подлинное, что оно может служить документом на его процессе и что оно не просто подделка какая-то, изготовленная с единственной целью вытянуть у него денежки. Вот поэтому-то он и просит всех своих друзей, людей мудрых и более сведущих во всем, что касается писанных бумаг, внимательно изучить этот документ.

Время от времени Робер украдкой взглядывал на свою супругу, желая удостовериться, достаточно ли убедительно звучат его слова. Жанна отвечала еле приметным наклоном головы; ее восхищало хитроумие мужа, то, как умело этот ловкач-гигант прикидывался простаком, когда ему требовалось кого-то провести. Посмотрите на него, вид встревоженный, недоверчивый... Присутствующие не преминут признать подлинность письма, а признавши, не станут и дальше отказываться от своего мнения, и при дворе и в парламенте пойдут слухи, что у Робера, мол, в руках документ, подтверждающий его права на графство.

– Введите эту даму Дивион!.. – сурово крикнул Робер.

Вошла Жанна Дивион, этакая скромная провинциалочка: полотняная шемизетка, а над ней скуластое личико, глаза, окруженные синевой. Вот ей не нужно было разыгрывать смущение, она и впрямь смутилась. Из большого матерчатого кошель она вытащила свернутую трубочкой бумагу, с которой на шнурках свисало несколько печатей, вручила ее Роберу, а тот развернул свиток, с минуту разглядывал его и передал нотариусу.

– Проверьте печати, мэтр Тессон.

Нотариус проверил сначала шелковые шнурки, с которых свисали печати, потом склонил над листом веленовой бумаги свою огромную черную шапку и профиль молодого, только что народившегося месяца.

– Ваша светлость, это действительно печать покойного графа, вашего дедушки, – уверенно заявил он.

– Посмотрите теперь вы, дорогие сиры, – подхватил Робер.

Письмо переходило из рук в руки. Сир де Бреси подтвердил, что печати судов Арраса и Бетюна безукоризненны; граф де Бувиль поднес бумагу к полуслепым своим глазам и различил только зеленое пятнышко в самом низу бумаги; он провел пальцем по воску, такому гладкому на ощупь, и с век его скатилась слеза.

– Ах, – пробормотал он, – это зеленая печать, печать моего доброго государя Филиппа Красивого.

И тут наступила минута великого умиления, минута торжественного молчания, ибо каждый в душе почувствовал уважение к этому старому слуге французской короны и к давним его воспоминаниям.

Стоявшая в уголке у стены Жанна Дивион обменялась быстрым взглядом с графиней де Бомон.

– А теперь прочтите-ка нам этот документ вслух, мэтр Тессон, – приказал Робер.

И нотариус, взяв уже обошедший круг приглашенных документ, начал:

– *«Мы, Робер Французский, нэр и граф Артуа...»*

Начальные строки были составлены согласно обычной традиции, поэтому присутствующие выслушали их спокойно.

– *«...и сим подтверждаем в присутствии сеньоров де Сен-Венана, де Сен-Поля, Вейпейлля, благородных рыцарей, что скрепят документ сей печатями своими, и мэтра Тьерри д'Ирсона, писца моего...»*

Кое-кто взглянул в сторону Жанны Дивион, и она потупила взор.

«Ловко это мы подпустили епископа Тьерри, очень ловко, – думал Робер, – таким образом, его роль будет удостоверена свидетельскими показаниями; получается весьма складно, все одно к одному».

– *«...что после женитьбы сына нашего Филиппа ввели его во владение графством нашим, с тем, однако, чтобы пользоваться доходами с него до конца наших дней, на что дочь наша Маго дала свое согласие и отказалась от вышеупомянутого графства...»*

– Ого, это существенно, весьма существенно! – вскричал Робер. – Этого даже я не ожидал. Никто мне никогда не говорил, что Маго дала свое согласие! Вы видите, видите, друзья мои, какова же ее подлость!.. Продолжайте, мэтр Тессон.

Присутствующие тоже не остались равнодушными. Кто покачивал головой, кто переглядывался с соседом... И впрямь, документ этот огромной важности...

– *«...и ныне, когда Господь Бог призвал к себе нашего дорогого и возлюбленного сына графа Филиппа, обращаемся с просьбой к владыке нашему королю, ежели случится, что в походе свершится над нами воля Божия, дабы наш владыка король не допустил бы того, что потомство мужеска пола от сына нашего было бы лишено наследства...»*

Гости в знак одобрения важно кивали. Рыцарь Анжес из парламента простер к Роберу обе руки, как бы говоря: «Ну вот, ваша светлость, считайте, что тяжба уже выиграна».

Нотариус продолжал чтение:

– *«...и скрепили сие нашей печатью, в нашем отеле в Аррасе, двадцать восьмого дня июня месяца лета от Рождества Христова тысяча триста двадцать второго».*

При этих словах Робер подскочил в креслах. Графиня де Бомон побледнела. Дивион, стоявшая в углу, чуть не лишилась сознания.

Но не только эти трое расслышали слова «тысяча триста двадцать второго». Все головы, как по команде, удивленно повернулись в сторону нотариуса, но и тот тоже сидел как оглушенный.

– Вы, кажется, прочитали «тысяча триста двадцать второго»? – спросил рыцарь Анжес. – Очевидно, вы хотели сказать триста второго, то есть год смерти графа Робера?

Мэтр Тессон и рад был бы обвинить себя в этой оговорке, но бумага вот здесь, перед его глазами, и там черным по белому написано «тысяча триста двадцать второго». А если кто захочет еще раз взглянуть? Как такое могло случиться? Ох и покажет им всем его светлость Робер! А сам-то он, Тессон, в какое грязное дело дал себя впутать. В Шатле... за такие дела наверняка попадешь в Шатле!

Но так или иначе, надо было выпутываться, исправить непоправимое...

– Тут, очевидно, неясно написано, – пробормотал он. – Ну да, конечно же, надо читать тысяча триста второго...

И, быстро окунув перо в чернильницу, он вычеркнул что-то, что-то подправил, чтобы получилась нужная дата.

– А имеете ли вы право исправлять бумаги? – кислым тоном осведомился Анжес.

– Ну конечно, мессир, – отозвался нотариус, – тут под словом стоят две точки, а прямая обязанность нотариуса исправлять нечетко написанные слова, под которыми эти точки стоят.

– Совершенно верно, – подтвердил архидиакон Авраншский.

Однако это, казалось бы, незначительное происшествие начисто разрушило то первое прекрасное впечатление от документа.

Робер кликнул пажа, шепнул ему на ухо, чтобы скорее накрывали к обеду, и сделал попытку оживить разговор.

– В конечном счете, мэтр Тессон, как по-вашему, письмо подлинное или нет?

– Безусловно, ваша светлость, безусловно, – поспешно отозвался Тессон.

– И по-вашему тоже, мессир архидиакон?

– По-моему, подлинное.

– Возможно, вам следовало бы, – дружески заметил сир де Бреси, – следовало бы сравнить это письмо с другими письмами покойного графа Артуа, датированными тем же годом...

– А как, дорогой мой друг, – ответил Робер, – а как же их сравнить, если все документы хранятся у моей тетки Маго! Я лично считаю, что письмо подлинное. Таких вещей не выдумывают! Я сам половину из того, что здесь написано, не знал, и в частности, что Маго отказалась от наследства.

В эту минуту во дворе заиграл рожок. Робер хлопнул в ладоши.

– Сигнал мыть руки, мои сеньоры! Пойдемте ополоснем кончики пальцев – и за стол!

Он в бешенстве метался по спальне графини, своей супруги, и половицы тряслись под его ногами.

– Вы же его читали! И Тессон читал! И Дивион читала! И никто из вас не заметил эти злосчастные «двадцать второго», а из-за этого пустяка может рухнуть здание, с таким трудом возведенное.

– Но вы сами, друг мой, – спокойно ответила Жанна де Бомон, – но вы сами тоже читали и перечитывали это письмо и, если память меня не обманывает, были в полном восторге...

– Ну да, ну да, читал, и я тоже не заметил этой ошибки! Читать глазами и читать вслух – это вовсе не одно и то же. Я даже мысли не мог допустить, что напишут такую ерунду. И надо же было этому ослу нотариусу... И еще другой осел, который письмо писал... как его звать? Россиньоля?.. Уверяет, что способен, мол, составить любое письмо, вытягивает у нас столько денег, что можно дворец построить, а сам не умеет даже правильную дату написать! Вот прикажу схватить этого самого Россиньоля, пусть-ка его постегают до крови!

– Придется вам искать его в Сен-Жаке, друг мой, куда он поехал паломником на ваши деньги.

– Тогда подождем, пока вернется!

– А не опасаетесь ли вы, что во время порки он заговорит громче, чем вам бы того хотелось?

Робер пожал плечами:

– Счастье еще, что все это произошло у нас дома, а не перед судьями в парламенте! Прошу вас, милочка, самым тщательным манером проверять все прочие бумаги, чтобы туда не вкрались подобные ошибки.

По мнению Жанны де Бомон, Робер несправедливо обрушил на нее весь свой гнев. Не меньше его она сожалела об этой ошибке, не меньше его печалилась, так что Робер мог бы сдержаться и не винить ее во всех смертных грехах, тем паче после ее трудов, когда она всю кожу на пальцах себе ободрала, возясь с этими печатями.

– В конце концов, Робер, с какой стати вы так неистовствуете с этой тяжбой? Почему рискуете сами и не только меня подвергаете риску, но и добрый десяток связанных с вами людей в том случае, если в один прекрасный день откроются ложь и подлог?

– Никакая это не ложь, никакой это не подлог! – завопил Робер. – Я хочу открыть людям глаза на правду, которую упорно от них прячут!

– Хорошо, пусть правду, – согласилась Жанна, – но признайтесь же, что правду вы преподнесете людям в дурном обличье. Не опасаетесь ли вы, что в таком виде ее вряд ли узнают! У вас есть все, друг мой: вы пэр Франции, брат короля, коль скоро я его родная сестра; в Королевском совете вы вершите всеми делами; доходы ваши велики, так что вашему богатству может позавидовать любой, не говоря уже о моем приданом. Почему вы не оставите в покое это графство Артуа? И не допускаете ли вы мысли, что мы начали опасную игру, которая может стоить нам слишком дорого?

– Душенька, рассуждения ваши никуда не годятся, и я удивлен, слыша от вас, такой умницы, подобные слова. Да, я первый из баронов Франции, но ведь я барон безземельный. Мое небольшое графство Бомон, которое мне дали взамен Артуа, принадлежит короне: не я его хозяин, хоть и пользуюсь доходами с него. Да, мне дали звание пэра, но, как только что вы сами изволили выразиться, только потому, что король ваш родной брат, да продлит Господь дни его, но ведь и короли тоже не вечны. Сколько их прошло на наших глазах! Если Филипп умрет, не меня же, в самом деле, назначат регентом. А вдруг эта хромоногая сука, жена Филиппа, которая и вас тоже ненавидит, при поддержке Бургундского дома станет регентшей, так буду ли я тогда столь же всемогущим, как ныне, и станет ли казна по-прежнему выплачивать мне доходы? У меня нет никакой власти, я не творю суд, я вассал, но не из великих, я не имею права снимать с земли людей, которые должны были бы мне слепо повиноваться и чей труд я мог бы использовать иначе. Чьими руками сейчас все делается? Руками людей из Валуа, из Анжу, Мэна – другими словами, из удельных и ленных владений вашего дорогого батюшки Карла. А где же мне брать себе слуг? Среди вон тех, что ли? Повторяю вам, у меня нет ровно ничего. Я не могу даже собрать под свои знамена многочисленное войско, чтобы привести в трепет недругов. Истинное могущество мерится количеством ленных владений, кастелянств, которыми можно управлять по собственной воле и черпать оттуда людей для ратных дел. Все мое богатство – это я сам, это мои руки, это то место, которое я занимаю в Совете; мое влияние основано на королевском благорасположении, а благорасположение, как и все прочее, – в руке Божией. У нас сыновья; так вот, подумали ли вы о них, душенька, и, так как неизвестно, унаследуют ли они мой ум, я хочу оставить им корону графа Артуа... ведь по закону они прямые ее наследники.

Никогда еще Робер так пространно не излагал свои самые потаенные мысли, и графиня де Бомон, забыв недавнюю обиду, видела сейчас мужа совсем в новом свете, и перед ней был



уже не коварный гигант, за чьими интригами она следила с любопытством, уже не тот шалопай, способный на любую подлость, уже не тот оголтелый бабник, не пропускавший ни одной юбки, шла ли речь о благородных девицах, простых горожанках или даже прислужницах, – сейчас перед ней был подлинный сеньор, здраво рассуждавший о своих делах. Когда в свое время ее отец Карл Валуа гонялся за королевствами или за императорской короной и старался пристроить своих дочерей за особ королевского рода, он тоже оправдывал свои деяния точно такими же рассуждениями.

Тут в дверь постучал паж: дама Дивион желает срочно поговорить с графом.

– Чего ей еще от меня нужно? Значит, не боится, что я ее пришибу на месте? Введите ее.

Жанна Дивион вошла в спальню графини с растерянным видом человека, приносящего дурные вести. Две ее служанки из Артуа, Мари Беленькая и Мари Черненькая, те, что помогали ей скупать печати к подложному письму, брошены в темницу, и схватили их судебские приставы графини Маго.

## Глава V Маго и Беатриса

– Пускай черти припекут вас на том свете, подлые вы людишки! – вопила графиня Маго. – Где же это видано? Я приказала схватить двух этих баб, от которых мы могли бы многое узнать, и едва только их бросили в темницу, как тут же и выпустили!..

В своем замке Конфлан на Сене, неподалеку от Венсенна, бушевала Маго, только что узнавшая, что обе служанки Жанны Дивион, схваченные бальи Арраса по ее приказу, уже освобождены. Ох и разъярилась же она, а «подлые людишки», на чью голову она обрушивала свои проклятия, в данном случае были представлены одной лишь Беатрисой д'Ирсон, ее придворной дамой. Бальи Арраса доводился родным дядей Беатрисе и был младшим братом покойного епископа Тьерри.

– Обе служанки, мадам, были освобождены по приказу короля, приславшего за ними двух стражников, – спокойно пояснила Беатриса.

– Да поди ты! Королю плевать на каких-то служанок, которые кухарят в захудалой аррасской харчевне! Их выпустили по приказу моего племянничка Робера, он побежал к королю и добился их освобождения. Хоть имена-то стражников известны? Хоть проверили, действительно ли они состоят на королевской службе?

– Одного звать Масио Алеман, а второго – Жан Сервуазье, мадам... – ответила Беатриса все так же спокойно и неторопливо.

– Оба пристава Робера! Я этого Масио Алемана знаю – это с его помощью мой прощелыга-племянничек обдeldывает свои самые грязные делишки. Кстати, как это Робер узнал, что служанок Дивион бросили в узилище? – спросила Маго, с подозрением взглянув на свою придворную даму.

– У его светлости Робера осталось много связей в Артуа... вы это сами знаете, мадам.

– Я не желаю, чтобы он поддерживал связи с моим окружением! – крикнула Маго. – Но тот, кто мне плохо служит, тем самым предает меня, и все вы меня предаете. Ох, после кончины Тьерри никто, по-моему, не чувствует ко мне и капли привязанности. Неблагодарные людишки! Я вас всех облагодетельствовала; целых пятнадцать лет нянчусь с тобой, как с родной дочерью...

Беатриса д'Ирсон, опустив свои длинные черные ресницы, уставилась на плитки пола. Ее гладкое смуглое лицо с четко вырезанными губами не выражало ровно ничего: ни покорности, ни возмущения, разве что в том, как поспешно опустила она свои на удивление длинные ресницы, притушив блеск глаз, чувствовалась какая-то фальшь.

– Твой дядюшка Дени, которого я сделала своим казначеем в угоду Тьерри, меня обманывает и обкрадывает! Где, скажи на милость, счета на проданные нынешним летом на парижском рынке вишни, а ведь вишни-то из моих садов! Дождется он, что в один прекрасный день я велю проверить все его записи! Все у вас есть – земли, дома, замки, – и все это куплено на те денежки, которые вы у меня же и накрали! А твоего дурачка-дядюшку Пьера я балли назначила, думая, что, раз он так глуп, хоть, по крайней мере, будет мне верно служить, а его, как вам это понравится, даже на то не хватает, чтобы держать ворота моей же тюрьмы на запоре! Кто хочет, тот оттуда и выходит, как из харчевни какой-нибудь или из непотребного дома.

– Но разве, мадам, мог дядя отказать... ведь бумага была за королевской печатью.

– А за те четыре дня, что провели в тюрьме эти служанки мерзкой шлюхи, какие они дали показания? Сумели развязать им язык? Подверг их твой дядюшка допросу с пристрастием?

– Но, мадам, – возразила Беатриса все тем же спокойно-неторопливым тоном, – он не мог этого сделать без решения суда. Вспомните, что случилось с вашим балли из Бетюна...

Взмахом своей огромной, испещренной желтыми пятнами ручищи Маго отмела этот аргумент.

– Нет-нет, все вы мне сейчас служите не от чистого сердца, – вздохнула она, – а может, и всегда плохо служили!

Маго старела. Годы не пощадили этого грузного тела, на подбородке выросла жесткая седая щетина, при малейшем волнении щеки становились лилово-багровыми и, словно красный детский слюнявчик, вырисовывалось на шее и груди алое пятно приливавшей крови. С прошлого года здоровье ее сильно ухудшилось. Этот год вообще был для нее роковым.

С того самого дня, когда в Амьене она принесла ложную клятву и когда была наряжена комиссия, характер Маго окончательно испортился, стал воистину невыносимым. Больше того – сдавала голова, она лишь с трудом разбиралась в том, что важно, а что нет. Побьет ли заморозок розы, которые в великом множестве выращивались в ее садах, сломается ли насосная машина, питавшая водой ее искусственные каскады в замке Эсен, – результат был один. С силой урагана гнев хозяйки обрушивался и на садовников, и на зрителей машины, и на пажей, и на Беатрису.

– А эти картины, да и десяти лет не прошло, как их намалевали, – орала она, указывая на фрески в галерее замка Конфлан. – Сорок восемь ливров парижской золотой монеты я заплатила этому богомазу, которого твой дядюшка Дени выписал из Брюсселя и который клялся, что краски у него самые что ни на есть стойкие<sup>13</sup>! И десяти лет не продержались, взгляни сама! Серебряные шлемы уже потускнели, а внизу вся картина облупилась. Что это, я тебя спрашиваю, хорошая, честная работа?

Беатриса скучала. Свита Маго была многочисленна, но состояла только из людей пожилого возраста. Теперь Маго держалась в стороне от королевского двора, где все полностью подпало под влияние Робера. Там, в Париже, в Сен-Жермене, у «короля-подкидыша» без передышки идут рыцарские потехи, состязания на копьях и пиршества – то в день рождения королевы, то в честь отъезда короля Богемии, а то и без всякой причины, просто так, для собственного удовольствия. Маго не появлялась при дворе или появлялась на минутку, когда этого требовало ее звание пэра Франции. Она уже вышла из того возраста, чтобы танцевать на придворных балах, и без интереса смотрела, как развлекаются другие, еще и потому, что происходило это при дворе, где с ней обращались так плохо. Даже пребывание в Париже в своем отеле на улице Моконсей ее не радовало – так и жила она затворницей в четырех стенах

---

<sup>13</sup> ...краски у него самые что ни на есть стойкие! – В июне 1320 г. Маго заключила сделку с Пьером Брюссельским, художником, проживавшим в Париже, для росписи фресками большой галереи в своем замке Конфлан, расположенном у слияния Марны и Сены. Договор очень точно определял сюжеты этих фресок (портреты графа Робера II и его рыцарей, сражающихся на суше и на море), одежду, которая должна быть на персонажах, цвет и качество используемых материалов. Роспись была закончена 26 июля 1320 г.

замка Конфлан или в замке Эсден, который пришлось долго приводить в божеский вид после разгрома, учиненного там в 1316 году ее племянником Робером Артуа.

С тех пор как она лишилась последнего любовника – а последним был епископ Тьерри д'Ирсон, деливший свои ночи между графиней и Жанной Дивион, откуда и пошла та ненависть, которую питала к сопернице Маго, – она превратилась в домашнего тирана и, боясь ночных приступов недуга, приказала Беатрисе спать в уголке ее спальни, где стоял густой запах стареющей плоти, лекарств и жирной пищи. Ибо Маго по-прежнему предавалась чревоугодию и в любой час суток на нее нападал стих обжорства; все вокруг – ковры, драпировки – пропахло заячьим рагу, жареным мясом кабанов и оленей, чесночными похлебками. Из-за вечного несварения желудка и запоров она то и дело призывала лекарей, цирюльников и аптекарей, но тут же заедала маринованным мясом прописанные ими микстуры и настои из целебных трав. Ах, где то блаженное времечко, когда Беатриса помогала Маго травить, как крыс, французских королей!

Да и сама Беатриса начинала ощущать груз прожитых лет. Молодость кончалась. Тридцать три года как раз тот возраст, когда каждая женщина, пусть даже познавшая все тайны разврата, оглядывает как бы с высоты два склона жизни, с тоской вспоминая прошедшие годы и с тревогой ожидая грядущих дней. Беатриса была по-прежнему красива, в чем убеждали ее мужские взгляды, бывшие ей ценнее любых зеркал. Но она сама знала – кожа постепенно утрачивает свой золотистый оттенок спелого плода, что было главным ее очарованием в двадцать лет; темные глаза – зрачки такие, что из-под ресниц почти не видно белка, – уже не так блестят поутру; тяжелеют бедра. Словом, наступила та пора, когда грешно было бы терять хоть один миг.

Но как быть, если старуха Маго укладывает ее спать в своей спальне, как незаметно улизнуть оттуда на свидание со случайным любовником, как отправиться в полночь в некое тайное убежище, где творят черную мессу, и там, среди участников дьявольского шабаша, вкусить всю пряную сладость греха?

– О чем размышлялась? – раздался вдруг крик Маго.

– Я не размышлялась, мадам, – ответила Беатриса, скользнув по лицу Маго беглым взглядом, – я только думаю о том, что вы сможете найти лучшую придворную даму, чем я, и она лучше станет вам служить... Я собираюсь выйти замуж.

Как и рассчитывала Беатриса, эта отравленная стрела без промаха достигла цели.

– Ну и невеста из тебя выйдет! – завопила Маго. – Тот, кто тебя в жены возьмет, славное приданое получит, и придется ему долго искать твою девственность в постелях у всех моих конюших, прежде чем ты украсишь его вдобавок еще и парой рогов!

– В мои годы, мадам, и притом, что я состояла при вашей особе, девственность скорее беда, чем добродетель. Что ж тут такого, раз я принесу в приданое мужу дома и все свое добро.

– Если только они у тебя до тех пор останутся, дочь моя! Если только останутся! Потому что все, что у тебя есть, у меня награблено!

Беатриса улыбнулась, и на черные ее глаза снова опустилась завеса ресниц.

– О мадам, – проговорила она с непривычной для нее кротостью, – неужто вы лишите благоденствий ту, что подсобляла вам в ваших тайных деяниях... ведь мы совершали их вместе.

Маго с ненавистью взглянула на Беатрису.

О, Беатриса умела напомнить своей госпоже об умерщвленных королях, чьи трупы отныне залегли между ними, о драже, сведшем в могилу Людовика Сварливого, о мазке яда по губам младенца Иоанна I... и к тому же знала, чем обычно кончаются такие сцены: у графини кровь прильет к голове, и под бычьей ее шеей появится алый слюнявчик.

– Не пойдешь замуж! Смотри, смотри, до чего ты меня доводишь своими дерзостями, радуйся теперь, – простионала Маго, падая в кресло. – В ушах звон стоит, надо бы снова отворить кровь.

– Не потому ли, мадам, вам так часто приходится отворять кровь, что вы слишком невоздержанны в пище?

– Ела и буду есть, что мне хочется и когда захочется! – завопила Маго. – И не нуждаюсь я в твоих советах, не тебе, дуре темной, решать, что мне полезно, что нет. Пойди принеси мне английского сыра и вина! Только быстрее!

В кладовых английского сыра не оказалось: последнюю присланную из Англии партию уже съели.

– Кто его сожрал? Меня обкрадывают! Тогда принеси мне запеченный паштет!

«Хоть десять! Набей себе брюхо и сдохни!» – думала Беатриса, ставя перед своей госпожой блюдо с паштетом.

Маго жадно, всей пятерней схватила здоровенный кус паштета и впиалась в него зубами. Но в эту же минуту услышала странный хруст, отдавшийся в голове, но хрустнула не аппетитно запеченная корка – сломался зуб, еще один зуб!

Ее серые, выпуклые, налитые кровью глаза совсем выкатились из орбит. С минуту она сидела не шевелясь, держа в правой руке кус паштета, а в левой – стакан вина, так и не закрыв рта, откуда свисал ставший поперек, сломанный в шейке резец. Потом поставила стакан и без усилий двумя пальцами вырвала зуб. Пошупала языком пустое место в десне и оцарапала язык о неровные острые края корня. А сама вертела в толстых пальцах своих маленький кусочек пожелтевшей кости, черной в месте перелома, глядела на часть самой себя, покинувшую ее.

Но тут Маго вскинула глаза, потому что Беатриса, не удержавшись, фыркнула. Сложив руки на животе, придворная дама не могла сдержать дурацкого смеха, от которого дрожали ее плечи. Но она не успела увернуться, Маго подошла к ней и со всего размаха закатила Беатрисе две пощечины. Смех сразу стих; под длинными ресницами злобно блеснули черные глаза, но блеск их тут же потух.

В тот же вечер, когда Беатриса помогала графине раздеваться на ночь, мир между обеими женщинами, казалось, был восстановлен. Маго, как одержимая, снова завела разговор о предстоящей тяжбе и поясняла Беатрисе:

– Пойми ты, почему мне так необходимо было, чтобы допросили тех двух женщин. Уверена, что эта Дивион помогает Роберу подделывать бумаги, и вот было бы славно поймать ее за руку.

Машинально она потрогала языком обломок зуба, который успел подточить цирюльник.

А в голове Беатрисы после двух увесистых пощечин уже зрел некий замысел.

– Разрешите, мадам, дать вам один совет? Соболаговолите вы его выслушать?

– Ну конечно, дочь моя, говори, говори. Я человек вспыльчивый, скоро на расправу, но тебе я верю, и ты сама это прекрасно знаешь.

– Так вот, мадам, все беды начались с наследства моего дяди Тьерри... когда вы наотрез отказались отдать то, что оставил он этой самой Дивион. Кто же спорит – мерзкая баба, и зря он ей столько назавещал! Но вы-то, вы приобрели в ее лице врагиню, а ведь она, коль скоро дядя поверял ей некоторые тайны... теперь она торгуется с Робером, хочет их подороже продать. Какое все-таки счастье, что я успела вовремя забрать бумаги из кофра д'Ирсонов, где дядюшка держал кое-какие ваши документы! Теперь вы сами видите, что с ними способна была сделать эта подлянка. Если бы вы дали ей хоть чуточку денег и кусок земли, мы заткнули бы ей рот.

– Да, да, – согласилась Маго, – пожалуй, и впрямь я совершила промашку. Но, согласись сама, где же это видано, чтобы какая-то распутная бабенка, которая валялась, как последняя, с епископом, явилась ко мне с завещанием, будто законная жена... Да, верно, пожалуй, я совершила промашку...

Беатриса помогла Маго снять дневную рубашку. Великанша подняла свои огромные ручки, показав подмышки, заросшие реденьким седым пушком; на загривке, как у быка, горбом вздымались жиры, груди тяжелые, отвислые, чудовищно уродливые груди...

«Стареет, – думала Беатриса, – скоро она умрет... да, но как скоро? До последнего ее дня мне придется раздевать и одевать эту отвратительную старуху и все ночи проводить при ней... А когда она умрет, что-то со мной станется? При поддержке короля его светлость Робер, конечно, выиграет тяжбу... И от дома Маго не останется ничего».

Осторожно натягивая на графиню ночную сорочку, Беатриса снова заговорила:

– Вот если бы вы согласились отдать этой Дивион то, что она требует по завещанию... и даже что-нибудь еще дали сверх, она, безусловно, перешла бы на вашу сторону, и ежели она и впрямь помогает вашему племяннику в его дурных делах, вы бы узнали, в каких именно... и это пошло бы нам на пользу.

– Ты, пожалуй, умно придумала, – ответила Маго. – Мое графство стоит того, чтобы лишиться какой-нибудь тысячи ливров, если даже такова плата за грехи. Но как добраться до этой шлюхи? Ведь она днюет и ночует в отеле Робера, а он, надо полагать, велел следить за ней в оба... и при случае не прочь ее приласкать, он у нас, как известно, не из привередливых. Как бы он не пронюхал о наших планах.

– Я берусь, мадам, увидеть ее и с ней поговорить. Как-никак я родная племянница Тьерри. Мог же он поручить мне передать ей еще какие-нибудь свои предсмертные распоряжения...

Маго пристально вглядывалась в спокойное, даже улыбающееся лицо своей придворной дамы.

– Помни – это риск, и большой риск, – протянула она. – Ежели Робер узнает, тогда держись...

– Знаю, мадам, знаю, что иду на риск, но я опасностей не боюсь, – ответила Беатриса, натягивая на уже улегшуюся в постель графиню вышитое одеяло.

– Ладно, ладно, ты славная девушка, – сказала Маго. – Щека-то не очень горит?

– До сих пор горит, мадам... но, чтобы услужить вам...

## **Глава VI**

### **Беатриса и Робер**

Лорме впустил ее в отель через боковую дверцу, которой обычно пользовались поставщики, так, словно бы ночная гостя была какая-нибудь лоскутница или вышивальщица, пришедшая к господам сдать заказ. Впрочем, сейчас Беатрису д'Ирсон, закутанную в широкую пелерину из легкого серого сукна, с капюшоном, низко надвинутым на лоб, трудно было отличить от простой горожанки.

Она с первого взгляда узнала старого слугу его светлости Артуа, но не выказала удивления, точно так же, как не выказала его, пройдя через два двора, службы и проследовав за Лорме в барские покои.

А Лорме семенил впереди, шумно дыша, и время от времени оборачивался, бросая недоверчивый взгляд на эту красотку, которая без всякого смущения следовала за ним своей скользкой походкой, чуть покачиваясь на ходу.

«Чего здесь нужно людишкам Маго? – ворчал про себя Лорме. – Какое варево намеревается сварганить эта шлюха на собственном нашем очаге? Ох, уж больно неосторожен его светлость Робер, разве можно пускать такую в дом? Да, мадам Маго знает, что делает: небось какую-нибудь уродину к нам не прислала!»

Коридор со сводчатым потолком, шпалеры на стенах, низенькая дверца, бесшумно вращавшаяся на обильно смазанных петлях, – и перед Беатрисой предстали сначала святой Георгий, поражающий копьем дракона, потом святой Морис, опершийся на меч, и затем святой Петр, все так же тянущий из моря сети.

А посреди комнаты стоял сам Робер, широко расставив ноги, скрестив руки на мощной груди и уткнув подбородок в воротник.

Беатриса опустила свои длинные ресницы, и по телу ее пробежала сладостная дрожь не то страха, не то удовольствия.

– Полагаю, вы не ожидали меня здесь встретить, – начал Робер Артуа.

– О нет, ваша светлость, – ответила Беатриса, растягивая по своему обыкновению слова, – именно вас-то я и рассчитывала видеть.

Беатриса сделала все, чтобы устроить это свидание. Уже целую неделю посланцы Маго, почти не скрываясь, добивались встречи с Жанной Дивион, так что весь отель ждал ее появления здесь.

Робер не без удивления взглянул на Беатрису: такого ответа он никак не предвидел.

– Тогда зачем же вы явились? Сообщить мне о смерти моей тетушки Маго?

– О нет, ваша светлость... Мадам Маго только сломала зуб.

– Новость, конечно, хорошая, – сказал Робер, – но вряд ли вам стоило беспокоить себя по таким пустякам. Это она вас сюда послала? Видно, поняла, что проиграет тяжбу, и хочет со мной договориться? Я с ней договариваться не собираюсь!

– О нет, ваша светлость... Мадам Маго не хочет договариваться, она уверена, что выиграет дело.

– Выиграет? Еще чего! Это против пятидесяти пяти свидетелей-то, которые в один голос заявят, что меня обокрали и обманули?

Беатриса улыбнулась:

– У мадам Маго их будет целых шестьдесят, ваша светлость, и они докажут, что ваши свидетели лгут и что им за это хорошо заплатили...

– Ах так, красавица, значит, вы явились сюда, чтобы дразнить меня, так я вас понимаю? Свидетели вашей хозяйки гроша ломаного не стоят, зато показания моих подкреплены документами, и прекрасными документами, которые я и предъявлю судьям...

– Ах так, ваша светлость? – проговорила Беатриса наигранно почтительным тоном. – Значит, мадам Маго неправильно поняла, по каким таким причинам по всему Артуа идут для вас поиски старинных печатей.

– Печати собирают потому, – раздраженно отозвался Робер, – что мы вообще ищем все старые бумаги и мой новый канцлер приводит в порядок мои архивы.

– Ах так, ваша светлость... – повторила Беатриса.

– Да и вообще не вам меня допрашивать! Это я спрашиваю вас, зачем вы сюда явились. Пришли, чтобы моих людей подкупить?

– Вовсе нет, ваша светлость, ведь я пришла к вам.

– Но чего же вам, в конце концов, от меня надо? – заорал Робер.

Беатриса оглядела комнату. И тут только заметила дверь, через которую ее впустили и которая открывалась между лянками Магдалины. С губ ее сорвался смешок.

– Значит, все дамы, которых вы здесь принимаете, входят через этот лаз?

Гигант Робер начал терять душевное равновесие. Этот насмешливый тягучий голос, этот короткий горловой смешок, этот взгляд черных глаз, то поблескивающий, то тухнувший под длинными загнутыми вверх ресницами, – все это волновало его.

«Берегись, Робер, – мысленно приказал он себе, – эту прожженную шлюху подослали к тебе неспроста!»

Он уже давно знал эту Беатрису! И уже не впервые она старалась его разжечь. Ему вспомнилось, как в аббатстве Шаалис, когда он вышел после ночного Совета у короля Карла IV, Совета, посвященного английским делам, Беатриса поджидала его под сводами монастырской гостиницы. И еще сколько раз... И при каждой встрече все тот же взгляд, ищущий его глаза, те же плавные движения бедер, та же дерзко выпяченная грудь. Робер не принадлежал к числу

мужчин, которых супружеская верность вяжет по рукам и ногам, – нацепи кто-нибудь на дерево женскую юбку, и он помчался бы туда со всех ног. Но эта девица, принадлежавшая к дому Маго, обдelyивавшая вместе с его тетушкой все делишки, всегда внушала ему недоверие.

– Вот что, моя красавица, вы, конечно, настоящая пройдоха, но при всем при том, видать, весьма осмотрительны. Моя тетушка верит, что выиграет тяжбу, но вы-то не ослеплены, как она, и сами понимаете, что ее тяжба проиграна. Вы решили, что раз благоприятный ветер дует теперь не для вашего Конфлана, то будет самое время повидаться с этим Робером Артуа, на которого вы же столько наклепали, кому столько принесли ущерба и чья рука не дрогнет в час отпущения. Разве нет?

По своему обыкновению, Робер шагнул назад и вперед по комнате. На нем был короткий кафтан, обтягивавший объемистое брюшко; мощные мускулы ног резко вырисовывались под суконными штанами. А Беатриса из-под опущенных ресниц следила за ним взглядом, вбиравшим все – от рыжей шевелюры до башмаков.

«Вот-то, должно быть, тяжеленный», – думала она.

– Но запомните, меня улыбочками не смягчишь, – продолжал Робер. – Разве только вам позарез нужны деньги и вы хотите получить их в обмен на какую-то тайну. Что ж, я щедро вознаграждаю тех, кто мне служит, но я беспощаден к тем, кто хочет меня провести!

– Мне нечего вам продать, ваша светлость.

– В таком случае, милейшая Беатриса, для вашего сведения и сохранности советую вам как можно скорее переступить порог моего дома, с какой бы целью вы сюда ни пожаловали. Слуги мои зорко следят за входом в поварню, каждое блюдо, прежде чем его подадут мне, пробуют, любое вино сначала отпивают.

Беатриса провела кончиком языка по губам так, словно бы пригубила сладчайшего ликера.

«Бойся, как бы я его не отравила», – подумала она.

Ох, как же ей было теперь и весело и страшно. А Маго-то верит, что сейчас она старается обвести вокруг пальца эту дурочку Дивион. О, чудесное мгновение! Беатрисе померещилось, будто она держит в руке концы невидимых и смертоносных нитей. Только надо половчее ими управлять.

Она отбросила назад капюшон, развязала на шее завязки пелерины, скинула ее. Темные густые волосы были заплетены в две косы и уложены на ушах. Переливчатое платье с глубоким вырезом еле прикрывало смуглую роскошную грудь. И Роберу, любителю дородных женщин, невольно подумалось, что Беатриса здорово похорошела со дня их последней встречи.

А Беатриса тем временем расстелила на полу свою пелерину так, чтобы та образовала на плитах полукруг. Робер с удивлением следил за ее действиями.

– Да что вы тут вытворяете?

Она не ответила, вынула из своего кошелька три черных пера, пристроила их у ворота пелерины так, что получилась как бы маленькая звездочка; потом вдруг завертелась, описывая в воздухе указательным пальцем воображаемые круги и бормоча какие-то непонятные слова.

– Что вы тут вытворяете? – повторил Робер.

– Хочу вас заколдовать, ваша светлость, – спокойно пояснила Беатриса, так, словно речь шла о самом обыкновенном деле или, во всяком случае, о самом привычном ей деле.

Робер расхохотался. Взглянув на него, Беатриса взяла его за руку, как бы собираясь ввести в центр круга. Он машинально отдернул руку.

– Бойтесь, ваша светлость? – улыбнулась Беатриса.

Вот она где, женская сила! Ну какой бы сеньор осмелился сказать в лицо графу Роберу Артуа, что он, мол, боится, и тут же не получить в ответ сокрушительной пощечины, отвешенной мощной графской дланью, или удара мечом весом в двадцать фунтов, от которого череп разлетится? И вот вам вассалка, простая камеристка, бродит вокруг его отеля, добивается с

ним встречи, отнимает у него время, несет какую-то чепуху: «Мадам Маго зуб сломала... Мне нечего вам продать», – расстилает у него в кабинете на полу свою пелерину и прямо в лицо ему заявляет, что он трус!

– По-моему, вы всегда боялись даже близко ко мне подойти, – продолжала Беатриса. – В тот день, когда я впервые увидела вас... давно это было, в отеле мадам Маго... вы еще приходили сказать ей, что ее дочерей будут судить... возможно, вы даже и не помните этого... но только вы все от меня отворачивались. И еще десятки раз... Нет, ваша светлость, даже не пытайтесь убедить меня, что вы не боитесь!

Позвонить Лорме, приказать ему выкинуть прочь эту девку, которая смеет над ним измываться, – вот что подсказывал Роберу голос благоразумия, вот что надо было сделать немедленно.

– А чего ты добиваешься, со своими пелеринами, кругами и перьями? – спросил он. – Дьявола хочешь звать?

– Угадали, ваша светлость... – ответила Беатриса.

Услышав этот ребяческий ответ, Робер пожал плечами, но, желая поддержать шутку, вступил в круг.

– Готово, ваша светлость. Как раз этого я и добивалась. Потому что вы, вы и есть сам дьявол...

Какой мужчина устоит против такого комплимента? На сей раз Робер самодовольно расхохотался от души, всей своей утробой. И ухватил Беатрису двумя пальцами, большим и указательным, за подбородок:

– А знаешь, я ведь могу приказать сжечь тебя как колдунью!

– О, ваша светлость...

Она стояла вплотную к нему, закинув голову, и видела его широкую нижнюю челюсть, покрытую рыжей щетиной, вдыхала его запах кабана, загнанного охотничьими псами. Опасность, предательство, желание – вся эта дьявольщина горячила ей кровь.

Бесстыдница, бесстыдница, не скрывающая своего бесстыдства, – таких-то и любил Робер! «Да чем я рискую?» – мелькнуло у него в голове.

Схватив Беатрису за плечи, он притянул ее к себе.

«Ведь это племянник мадам Маго, ее родной племянник, который желает ей только зла», – успела подумать Беатриса, когда в ее губы впились губы Робера и у нее перехватило дух.

## Глава VII Дом Бонфия

До последних своих дней епископ Тьерри д'Ирсон жил в собственном доме на улице Моконсей, примыкающем к отелю графини Артуа, он сумел увеличить свое владение, прикупив дом своего соседа, некоего Жюльена Бонфия. Вот в этот-то дом, перешедший по наследству Беатрисе, она и предложила Роберу приходить к ней на свидания.

Надежда поразвлечься в обществе придворной дамы Маго, да еще бок о бок с отелем Маго, в доме, купленном на денегки Маго, и к тому же с таким заманчивым названием, – тут было чем потешить свою душеньку такому любителю проказ, как Робер Артуа. Иной раз кажется, сама судьба уготовливает для нас вот такие развлечения...

Тем не менее поначалу Робер действовал в высшей степени осмотрительно. Хотя у него самого был на той же улице собственный отель, где он, правда, не жил, но куда временами наезжал, он отправлялся в дом Бонфия только поздним вечером. В кварталах, прилегающих к Сене, где узкие улочки забиты неторопливыми прохожими, такой сеньор, как Робер Артуа, чья богатырская фигура давно примелькалась парижанам, да еще шествующий в сопровождении оруженосцев, конечно, не мог пройти незамеченным. Поэтому-то он и дожидался, когда на город падет ночная мгла. Брал он с собой неизменного Жилле де Неля да трех слугителей,



не склонных к болтовне, а главное, обладающих недюжинной силой. Жилле был, так сказать, мозгом стражи Робера, а трое слуг, способных одним ударом уложить быка, обычно торчали у входа в дом, и, так как им не велено было надевать для этих походов графских ливрей, их легко можно было принять за обыкновенных зевак...

В первые дни свиданий Робер отказывался от вина с пряностями, которым его потчевала Беатриса. «Очень возможно, что девице поручено меня отравить», – думал он. Он скидывал скрепя сердце только верхнюю одежду, нашитую на тонкую стальную кольчугу, и даже в миг самого острого наслаждения поглядывал на ларь, куда обычно клал свой кинжал.

А Беатриса, в свою очередь, наслаждалась этим страхом. Как это сумела она, скромная горожаночка из Артуа, незамужняя девка, хоть ей и больше тридцати, вдоволь навалявшаяся и в барских, и в лакейских постелях, как сумела она внушить такой страх, и кому – гиганту Роберу, одному из самых, пожалуй, могущественных пэров Франции.

Поэтому их связь приобретала – больше даже для Беатрисы, чем для Робера, – пряный привкус извращенности. И все это происходит в доме ее дядюшки, епископа! Да еще с заклятым врагом мадам Маго, которой приходится в оправдание своих частых отлучек плести каждый день невесть что... Жанна Дивион, мол, оказалась несговорчивой. Так сразу ее не улеестишь, а с другой стороны, просто безумие отваливать ей такие огромные деньги за явную ложь... Нет, с ней следует видеться чуть ли не каждый день, выведать у нее шаг за шагом, какие такие интриги ведет этот злодей его светлость Робер Артуа, выманить у нее имена чересчур податливых свидетелей, а затем еще и проверить ее слова, а для этого встретиться с мессиром Жювиньи в Лувре, с Мишле Геру, слугой нотариуса Тессона. Ах, сколько все это требует хлопот, времени, расходов... «Следовало бы, мадам, подарить жене этого писца штуку материи, тогда язык у него наверняка развяжется... Разрешите мне взять несколько ливров?..»

А какое удовольствие глядеть прямо в глаза мадам Маго, улыбаться ей и думать про себя: «Не пройдет и полсуток, как я, обнаженная, буду иметь честь предложить себя мессиру вашему племяннику!» Видя, как, не щадя сил своих, хлопочет по ее делам Беатриса, мадам Маго стала придерживать свой язычок, снова вернула придворной даме бывшее расположение и не скупилась на подарки. А для Беатрисы было вдвойне сладостно водить за нос Маго, стараясь одновременно покорить Робера. Ибо нельзя быть уверенной в том, что ты покорила мужчину, только потому, что провела с ним час в одной постели, равно как нельзя стать настоящим хозяином хищного зверя только потому, что ты его купила и смотришь на него сквозь прутья клетки.

Обладание – это еще не подлинная власть.

И впрямь становишься хозяином, только когда до седьмого пота потрудишься над хищником, так чтобы он ложился по первому твоему слову, убирал когти и твой взгляд заменял бы ему прутья клетки.

Недоверчивость Робера была для Беатрисы словно когти, которые во что бы то ни стало необходимо подпилить. За всю свою жизнь охотницы ей впервые удалось заарканить такого крупного зверя, да еще прославленного своей баснословной свирепостью.

Когда в один прекрасный день Робер наконец согласился принять из рук Беатрисы кубок с вином из черного винограда, она поняла, что первая победа одержана: «Значит, я могла бы подложить туда яду и он бы выпил...»

И когда он как-то забылся сном, огромный, словно людоед из сказки, она не могла сдержать чувства ликующего торжества. На бычьей его шее явно проступала черта там, где кончался ворот или вырез кольчуги, – под кирпично-багровым лицом, продубленным всеми ветрами, резко выделялась белоснежная кожа, усеянная веснушками, плечи заросли рыжей шерстью, жесткой, как свиная щетина. И Беатрисе чудилось, будто эта словно бы нарочно так четко вырисованная линия проведена для топора или для лезвия кинжала.

Волосы цвета меди в крутых колечках на щеке сбились на сторону, открыв маленькое, мягко закругленное ухо, по-детски трогательное. «В это маленькое ухо, – подумала Беатриса, – можно было бы погрузить кинжал до самого мозга...»

Через несколько минут Робер внезапно проснулся, вскочил, беспокойно оглянулся.

– Как видишь, ваша светлость... я тебя не убила, – рассмеялась Беатриса.

Когда она смеялась, видна была ее темно-вишневая десна.

Как бы желая ее отблагодарить, Робер снова схватил Беатрису в свои объятия. Надо сказать, он нашел себе достойную партнершу, спорую на выдумки, не щадившую себя, не угрюмицу, не скрытницу, а умеющую разделить с мужчиной наслаждение, не сдерживая ликующих криков. На своем веку Робер задрал немало юбок, и шелковых, и льняных, и дерюжных, и почитал себя поэтому великим мастером распутства, но тут хочешь не хочешь, а приходилось признать, что его партнерша не только ему не уступает, но и во многом превосходит.

– Если ты, милочка, научилась такому обхождению на шабаше, – говорил он, – то следовало бы посылать туда всех девственников подряд!

Говорил он это потому, что Беатриса часто рассказывала ему о шабашах и о дьяволе. Эта девица, медлительная и даже вялая с виду, с ленивой походочкой и неторопливой речью, проявляла лишь в постели свой бешеный нрав и воодушевлялась лишь тогда, когда разговор заходил о демонах или волшебстве.

– Почему ты до сих пор не вышла замуж? – как-то спросил ее Робер. – От женихов у тебя отбоя, надо полагать, не было, особенно если ты еще до свадьбы сумела приохотить их к таким развлечениям...

– Потому что венчаться надо в церкви, а церковь для меня нож острый!

Встав на колени, положив ладони на бедра, Беатриса заговорила, широко открыв глаза с загнутыми ресницами, и при свете ночника тени гуще ложились на ее живот и лоно.

– Ты пойми, ваша светлость, и священники, и папы римские и авиньонские нас правде не учат. Бог вовсе не един, Бога два: один – царь Света, другой – царь Тьмы, князь Добра и князь Зла. Еще до сотворения мира народ Тьмы восстал против народа Света; и слуги Зла, дабы начать жить живой жизнью, коль скоро Зло есть небытие и смерть, пожрали часть Добра, самые его основы. И так как сочетались в них две силы – сила Добра и сила Зла, – они смогли создать мир и породить людей, поэтому в людях смешаны две первоосновы, находящиеся в непрестанном борении, но Зло всегда побеждает, ибо оно питало народ, бывший нашим прародителем. И всякому видно, что и впрямь существует две первоосновы, коль скоро есть мужчины и женщины, созданные различно, как, скажем, ты да я, – добавила она с хищной улыбкой. – И это Зло щекочет наше нутро и побуждает нас соединяться... Те люди, в коих природа Зла сильнее природы Добра, обязаны чтить Сатану и заключить с ним договор, если они жаждут счастья и удачи во всех делах своих; и они не смеют служить князю Добра, ибо он враг их.

Странная эта философия, от которой изрядно припахивало серой, состоящая из обрывков наспех усвоенного манихейства, из той тяги к сатанизму, что была в учении катаров, – все это, воспринимаемое в искаженном виде, с чужих слов и вряд ли как следует понятное, имело куда больше приверженцев, чем полагали сильные мира сего. Тут Беатриса не представляла собой исключения, но Роберу, который ни разу в жизни даже не задумывался над такими вопросами, она приоткрывала врата в некий таинственный мир, и его восхищало, что подобные рассуждения он слышит из прелестных женских уст.

– А ты, оказывается, умница, вот не думал-то! Кто же тебя насчет всего этого просветил?

– Бывшие тамплиеры.

– Как так тамплиеры? Ах да, они действительно знали много всего...

– Вы их истребили.

– Это не я, не я! – крикнул Робер. – Это Филипп Красивый и Ангерран, дружки твоей Маго... Зато Карл Валуа и я – мы были против их казни.

– Все равно, они как были, так и остались могущественными, потому что владеют тайнами магии; все беды, что обрушились с тех пор на наше государство, произошли оттого, что тамплиеры заключили договор с Сатаной, раз папа отлучил их от церкви.

– Все беды государства, все беды... – с сомнением в голосе повторил Робер. – Кое-какие были, если не ошибаюсь, скорее делом рук моей любезной тетушки, чем дьявола. Разве не она отправила на тот свет сначала Людовика Сварливого, а затем и его сына? Да уж не приложила ли и ты к этому руку?

Несколько раз он приступал к Беатрисе с этим вопросом, но она уходила от прямого ответа. Или, вернее, неопределенно улыбалась, словно бы не расслышав его слов, или отвечала невпопад.

– Маго не знает... не знает, что я заключила договор с дьяволом... А то непременно выгнала бы меня из дома...

И снова лилась ее быстрая речь, снова возвращалась она к излюбленным своим рассказам о черной мессе, которую служат не как христианскую, а, так сказать, шиворот-навыворот, вернее, как отрицание ее, что отправляют такую мессу в полночь где-нибудь в подземелье и предпочтительно поблизости от кладбища. Идол, которому они поклоняются, двулик; причащающимся дают облатку черного цвета, а претворяют ее, трижды произнося имя Вельзевула. А если мессу правит поп-вероотступник или монах-расстрига, то это уже совсем хорошо.

– Тот Бог, что на небесах, обанкротился: обещал дать блаженство, а сам насылает одни лишь беды на тех, кто верно Ему служит; поэтому мы должны повиноваться тому Богу, что внизу. Слушай, ваша светлость, ежели хочешь, чтобы твои бумаги, которые ты приготовил для тяжбы, подкрепил еще и дьявол, вели провести раскаленным железом по уголку каждого листка, чтобы остались дырки с чуть-чуть обожженным краешком. Или, еще лучше, сделай вот что – пусть на каждой странице посадят чернильное пятнышко в форме креста, только пусть верхняя перекладина кончается как бы человеческой кистью... Я знаю, как это делается...

Но и Робер, в свою очередь, не открывал всех карт: хотя Беатриса первая и, пожалуй, единственная догадалась, что бумаги, которыми он так похваляется, были просто-напросто подделкой, ни разу не забылся он до того, чтобы признаться ей в этом.

– Если хочешь взять верх над врагом и извести его с помощью нечистой силы, – как-то поведала она ему, – возьми и натри ему подмышки, за ушами и ступни ног мазью, а мазь сделай из перемолотой облатки и стертых в порошок косточек новорожденного младенца, умершего некрещеным, и добавь туда мужского семени, а собирать семя нужно во время черной мессы, когда мужчина будет с женщиной, а от женщины этой возьми месячных кровей<sup>14</sup>...

– Ну знаешь, по мне, куда вернее, – ответил Робер, – подбросить дражайшей моей врагине того порошка, каким морят крыс и вонючек...

Беатриса даже бровью не повела. Но слова Робера горячей волной прошли по всему ее телу. Нет, не надо так вот сразу отвечать Роберу. Не надо, чтобы он знал, что она-то уже давным-давно готова на это... А что крепче общего преступления может связать на всю жизнь двух любовников?

Потому что Беатриса полюбила Робера. И не понимала того, что, стремясь залучить его в ловушку, она сама попала к нему в зависимость. Жила теперь она лишь в ожидании минут встречи, а после каждой встречи жила воспоминаниями о прошедшей и ожиданием новой. Ожиданием, когда почувствует на себе тяжесть двухсот фунтов, и этот запах зверинца, исходивший от Робера в минуты любовных схваток, и это рычание хищника, которое она умела вырвать из его груди.

---

<sup>14</sup> ...а от женщины этой возьми месячных кровей... – Эти колдовские рецепты, происхождение которых восходит к самому раннему Средневековью, еще использовались во времена Карла IX и даже при Людовике XIV – некоторые утверждали, что сама Монтеспан отдавалась приготовлению таких зелий. Рецепты приворотных напитков, которые можно прочесть далее, извлечены из сборников Малого или Великого Альберта.

Напрасно думают, что лишь редко какие женщины имеют склонность к чудищам и уродам. Дворцовые карлики – Жан Дурачок и прочие – могли бы с полным основанием кичиться своими победами над дамским полом! Даже случайное калечество и то служит объектом любопытства, а стало быть, и желанья. К примеру, рыцарь, потерявший глаз на турнире, – и только потому, что ужасно хочется приподнять черную повязку, закрывающую часть его лица. И Робера на свой лад можно было причислить к чудищам.

По крыше нудно постукивал осенний дождь. Пальцы Беатрисы с каким-то чувственным наслаждением скользили по складкам жира этого необъятного брюха.

– А главное, ваша светлость, – сказала она, – все, что захочешь, ты получаешь без труда, тебе даже никаких тайных знаний не требуется... Ты сам дьявол во плоти. А Дьявол ведь не знает, что он дьявол...

А он, задрав голову, утомленный ласками, слушал ее слова и мечтал...

Дьявол с горящими, как уголья, глазами, с огромными когтями вместо обыкновенных ногтей, дабы когтить легче было человеческую плоть, с раздвоенным, как змеиное жало, кончиком языка, и изо рта его вырывается пламя, точно из адской печи. Но дьявол может быть столь же тяжеловесен, как Робер, и пахнет от него так же. Она влюблена в Сатану. Она отныне подруга дьявола, и никто их никогда не разлучит...

Как-то вечером, когда Робер Артуа вернулся домой после свидания в доме Бонфия, его супруга подала ему тот самый пресловутый брачный контракт, наконец-то написанный по всей форме, только пока еще без полагающихся печатей.

Внимательно проглядев документ, Робер подошел к камину, небрежным жестом сунул кочергу в огонь, а когда кончик кочерги раскалился докрасна, продырявил им уголок листа, который покособился и затрещал.

– Что вы делаете, друг мой? – воскликнула графиня де Бомон.

– Просто хочу удостовериться, – ответил Робер, – хороша ли бумага или нет.

Жанна де Бомон с минуту внимательно смотрела на своего мужа, потом произнесла ласковым, почти материнским тоном:

– Вы бы приказали, Робер, остричь вам ногти... Почему вы ходите с такими длинными ногтями, откуда у вас такая мода?

## Глава VIII

### Возвращение в Мобюиссон

Бывает так, что какая-нибудь интрига, которую плетут долго и вроде бы даже умело, уже в самом зародыше дает трещину, и происходит это от недомыслия.

В один прекрасный день Робер вдруг заметил, что его катапульты, столь надежные с виду, могут развалиться на куски в минуту выстрела, и лишь потому, что он как-то упустил из виду главную пружину.

Он заверил короля, своего шурина, да еще торжественно поклялся на Евангелии, что бумаги, подтверждающие его наследственные права, существуют; по его приказу приготовили письма, и они были похожи как две капли воды на исчезнувшие; он собрал десятки свидетельских показаний, подкрепляющих подлинность этих документов. Итак, казалось бы, все доказательства были собраны и их должны принять без всяких споров.

Но существовала еще некая особа, которая знала, и знала твердо, что все его бумаги подложные, – и особой этой была Маго Артуа, коль скоро она самолично предала огню все подлинные акты, сначала те, что, пользуясь попустительством сановников Филиппа Красивого, двадцать лет назад сумела выкрасть из парижских архивов, а затем, уже не так давно, и копии, хранившиеся в кофре у Тьерри д'Ирсона.

А ведь если фальшивка может сойти за подлинник в глазах людей, настроенных благожелательно и ни разу в жизни не выдавших оригинала, то вряд ли это пройдет гладко в присутствии человека, заведомо знающего о подделке.

Конечно, Маго не встанет и не заявит: «Бумаги эти поддельные, потому что я сожгла подлинные», но достаточно того, что ей известно о подлоге, и, безусловно, она не остановится ни перед чем, чтобы это доказать, – тут уж она не оплошает, будьте уверены! Арест двух служанок Жанны Дивион – первое и настораживающее тому доказательство. К тому же слишком много людей участвовало в подлоге, и трудно себе представить, чтобы не нашелся хоть один, кто может предать со страха или польстившись на денежные посулы.

И о том, что при чтении завещания в Рейи вкрался этот роковой 1322 год вместо 1302 года, Маго тоже пронюхает. Пусть печати на вид безукоризненны, любезная тетушка все равно потребует их тщательно осмотреть. А кроме того, покойный граф Робер II, как вообще принято в кругу высшей знати, обычно приказывал упоминать во всех официальных бумагах имя писавшего их писца. Разумеется, составляя подложные письма, от излишних уточнений воздержались. Хорошо, предположим для одного документа такое умолчание может еще пройти, но не для четырех же, которые он предъявит суду? Маго ничего не стоит поднять все архивы дома Артуа. «Сравните-ка, – скажет она, – и обнаружьте среди всех бумаг, скрепленных печатью моего отца, такой почерк, чтобы он походил вот на этот».

Поэтому-то Робер пришел к заключению, что бумаги, имевшие для него силу подлинных, можно пустить в ход, лишь когда та особа, по чьему приказу без следа исчезли оригиналы, исчезнет и сама. Иначе говоря, тяжбу он может выиграть лишь при одном условии – если Маго отправится к праотцам. Таково было не просто его желание, но прямая необходимость.

– Если Маго помрет... – сказал он как-то Беатрисе, закинув обе руки за голову и мечтательно глядя на потолочные балки дома Бонфия, – да-да, если она помрет, мне ничего не стоит ввести тебя в свой отель как придворную даму моей супруги... Коль скоро я наследник Артуа, нет ничего удивительного, что я беру себе кое-кого из слуг своей тетки. И тогда ты всегда была бы при мне...

Хоть крючок и был грубо сработан, но бросили-то его рыбке, которая широко разинула рот.

Беатриса даже не смела тешить себя такими чудесными надеждами. В мечтах она уже видела себя в отеле Робера – вот она плетет там свои интриги сначала в качестве тайной, а потом и всеми признанной любовницы, ибо со временем все устрояется... И как знать? Мадам де Бомон смертна, как и все люди, все человеки. Правда, она на семь лет моложе самой Беатрисы и, говорят, пользуется отменным здоровьем, но в том-то и есть сладость для той, что старше, восторжествовать над той, что моложе, убрать ее со своего пути! А если при этом умело навести порчу, почему бы Роберу и не овдоветь через несколько лет? Когда любишь, разум не повинуетсЯ узде, воображение не знает границ. Временами Беатриса видела себя уже графиней Артуа, в мантии супруги пэра...

А что, если король отойдет в лучший мир – а это тоже вполне может произойти – и Робер станет регентом? В каждом веке бывало, что женщины невысокого рождения поднимаются до самых верхов потому, что сумеют разжечь похоть какого-нибудь принца, и еще потому, что самой природой поставлены над всеми прочими особами женского пола плотской своей прелестью и гибкостью ума. Вовсе не все императрицы Рима и Константинополя родились на ступеньках трона, судя по тому, что рассказывают в своих поэмах менестрели. Так уж повелось, что среди сильных мира сего быстрее всего происходит возвышение женщин...

Прежде чем дать наложить на себя оковы, Беатриса оттягивала время, желая убедиться в том, что тот, кто хочет ее поймать, уже попался сам. Пусть-ка Робер, умасливая ее, сначала сам хорошенько завязнет, пусть десятки раз подтвердит, что возьмет ее к себе в отель Артуа, что пожалует ей титул и другие привилегии, которыми она будет пользоваться с полным пра-

вом; пусть даст ей земли и назовет, какие именно... Вот тогда она, возможно, научит его, как напускать порчу, как слепить из воска фигурку, куда втыкать иголки, какие произносить при этом заклинания, чтобы погубить Маго. И еще Беатриса делала вид, будто ее мучили сомнения и совесть: разве графиня Маго не ее благодетельница, равно как и всего семейства д'Ирсонов?

В скором времени шейку Беатрисы украсил золотой аграф с фермуаром из драгоценных камней – Робер преуспевал в галантной науке. Поглаживая ладонью дорогой подарок, Беатриса сказала, что, ежели Робер желает, чтобы порча удалась, есть одно самое надежное и самое быстрое средство – это взять ребенка мужского пола, еще не достигшего пяти лет, дать ему проглотить белую освященную облатку, затем отрубить ему голову и окропить его кровью уже облатку черную, после чего исхитриться дать ее съесть тому, на кого напускают порчу. Разве уж так трудно найти подходящего ребенка? Да сотни бедняков, обремененных детворой, охотно продадут одного!

Робер досадливо поморщился: слишком уж много возни, и неизвестно еще, подействует ли средство или нет. Он предпочитает, честно говоря, что-нибудь попроще, например добрый яд: подсыплешь его – и готово.

Под конец Беатриса сделала вид, будто дала себя убедить из любви к этому дьяволу, которого она обожает, из-за того, что ей не терпится жить в его близости под крышей отеля Артуа, в надежде видеть его несколько раз на дню. Ради него она на все готова... И когда Робер, решивший, что наконец-то он одержал верх, вручил ей полсотни ливров на приобретение яда, он и не догадывался, что еще неделю назад Беатриса запаслась мышьяком в таком количестве, какого вполне хватило бы, чтобы перетравить всех обитателей их квартала.

Теперь оставалось только ждать удобного случая. Беатриса уверяла Робера, что Маго находится под неусыпным оком врачей и при малейшем ее недомогании все слетаются в ее опочивальню; за поварами установлен строгий надзор, все ее виночерпии начеку... Так что дело это нелегкое.

А потом намерения Робера вдруг изменились. Дело в том, что он имел с королем длинную беседу. Коль скоро все донесения комиссии, поработавшей не за страх, а за совесть в пользу истца, сводились к одному и коль скоро сам Филипп VI окончательно уверовал в права своего зятя на графство Артуа, он от всей души готов был услужить Роберу. Поэтому-то он и решил, дабы избежать тяжбы, когда исход ее предрешен заранее, а огласка будет неприятная и при дворе, да и во всем государстве, вызвать к себе графиню Маго и убедить ее отказаться от графства Артуа.

– Да в жизни она не согласится, – сказала Беатриса, – и ты это так же хорошо знаешь, как и я...

– И тем не менее попробовать не мешает. Если королю удастся ее образумить, это все-таки будет лучший выход.

– Нет... лучший выход – это яд.

Ибо перспектива любовного соглашения ничуть не улыбалась Беатрисе: в таком случае ее переселение в отель Робера откладывалось на неопределенный срок. Придется по-прежнему быть придворной дамой у графини Маго и ждать, когда она испустит дух, а когда это будет, одному Господу ведомо! Ей уже не терпелось ускорить развязку; уже не пугали ее больше все ею же выдуманные препятствия и трудности. Благоприятный случай? Да сколько угодно, хоть по несколько раз на дню, – ведь она сама подносит графине Маго и лекарства, и целебные настойки.

– Да, но раз король на три дня приглашает ее в Мобюиссон! – твердил свое Робер.

Любовники пришли вот к какому соглашению: либо Маго уступит королю и отступится от своих притязаний на графство Артуа – и тогда ей сохранят жизнь, либо она откажется – в таком случае Беатриса в тот же день подсыплет ей яду. Лучшей возможности не представится!

Маго почувствует недомогание, встав от королевской трапезы! Ну кто осмелится заподозрить короля в том, что он приказал ее прикончить, а если и заподозрят, то кто решится открыть рот?

Филипп VI предложил Роберу присутствовать при этом разговоре о примирении, но Робер отказался.

– Государь, брат мой, ваши слова прозвучат куда убедительнее, если меня там не будет: Маго меня ненавидит и при виде моей физиономии нарочно еще заупрямится и уж никак не пожелает покориться.

Он говорил так вполне искренно, но, помимо того, надеялся, что отсутствие оградит его от возможных обвинений.

Три дня спустя, 23 октября, графиня Маго выехала из дому и отправилась по Понтуазской дороге, ее крытые носилки, сплошь раззолоченные и украшенные гербами Артуа, нещадно подбрасывало на ухабах и колеях. Ее единственная оставшаяся в живых дочь, королева Жанна, вдова Филиппа Длинного, сопровождала мать. Беатриса примостилась против своей госпожи на обитом ковровой тканью табурете.

– Как по-вашему, мадам, что король хочет вам предложить? – начала Беатриса. – Если примирение... то разрешите мне дать вам совет... ни за что не соглашайтесь. Скоро я вам достану такие доказательства против его светлости Робера!.. На сей раз Дивион согласна сообщить нам кое-что весьма важное, так что ему теперь не выпутаться.

– Почему бы тебе не привести эту Дивион прямо ко мне, вас теперь с ней водой не разольешь, а я ее даже в глаза никогда не видывала? – спросила Маго.

– Да разве можно, мадам... она боится головы не сносить. Если его светлость Робер, не дай бог, проведает об этом, она до утренней мессы не доживет. Даже со мной она встречается ночами в доме Бонфия... И всегда под охраной нескольких слуг. Возьмите и откажитесь, мадам, прямо так и откажитесь!

Жанна в белом вдовьем одеянии молча вглядывалась в расстилавшийся вокруг пейзаж. И только когда вдалеке за рыже-бурыми кущами показались островерхие крыши Мобюиссона, она разомкнула уста:

– Помните, матушка, как пятнадцать лет назад...

Пятнадцать лет назад по той же самой дороге ее на черной повозке везли в Дурдан, в платье из грубой шерстяной ткани, какие носят монашки, с наголо обритой головой, а она вопила, что ни в чем не виновата. А на другой, тоже выкрашенной в черный цвет повозке увозили ее родную сестру Бланку и ее кузину Маргариту Бургундскую в Шато-Гайар. Пятнадцать лет!

Ее помиловали, муж вернул ей свою любовь. А Маргарита умерла. Умер Людовик X... Ни разу Жанна не решилась задать матери вопрос о причинах смерти Людовика Сварливого и его сына, малютки Иоанна I... А Филипп Длинный стал королем, правил Францией шесть лет и тоже умер. Жанне чудилось теперь, будто прожила она три совсем разные жизни: первая кончилась тем страшным далеким днем в Мобюиссоне; вторая жизнь началась с коронации Филиппа в Реймсе, когда она стала королевой Франции; и потом пошла третья – вдовья, когда тебя, окруженную почестями, отстраняют от власти, а вот сейчас она сидит в огромных носилках рядом с матерью. Три жизни! И ее не оставляло какое-то странное чувство, будто каждую из них прожили три совсем разные женщины, ничуть не похожие одна на другую. А теперь, доживая свой вдовий век, если она и чувствует, что жизнь все же идет, то лишь потому, что рядом с ней ее мать, женщина всеми уважаемая, властная, всегда подчинявшая ее себе, ведь она с детства боялась даже заговорить с ней первая.

Маго тоже одолевала воспоминания...

– И все из-за этого негодяя Робера, – произнесла она, – это он все тогда подстроил вместе с этой сукой Изабеллой; мне передавали, что дела ее идут не слишком блестяще, да и у ее Мортимера, с которым она, распутница, спит, тоже все не так уж ладно! Рано или поздно постигнет их небесная кара!

Каждая думала о своем...

– Теперь у меня длинные волосы... зато появились морщины, – прошептала вдовая королева.

– Ничего, дочь моя, зато графство Артуа будет твоим, – отозвалась Маго, потрепав Жанну по колену.

Беатриса со смутной улыбкой смотрела куда-то вдаль.

Филипп VI принял Маго весьма любезно, однако чуть свысока и заговорил с ней так, как подобает говорить королю. Он желает, чтобы между его знатнейшими баронами воцарился мир: негоже пэрам – главной опоре престола – подавать людям дурной пример, затеявая распри, и негоже также им бесчестить друг друга перед всеми.

– Я не могу, да и не хочу, обсуждать того, что происходило в предыдущие правления, – продолжал Филипп, как бы желая набросить на все прежние злодеяния Маго флер всепрощения. – Я забочусь только о сегодняшнем дне. Мои посланцы успешно справились с делом; свидетельские показания, дражайшая кузина, не скрою, говорят не в вашу пользу; Робер представит свои бумаги...

– Свидетели подкуплены, а бумаги подложные... – проворчала Маго.

Обед происходил в большом зале, в том самом, где некогда Филипп Красивый судил трех своих невесток... «Все, все думают сейчас именно об этом», – твердила про себя Жанна Бургундская, вдова Филиппа V, и кусок не шел ей в горло. А на самом-то деле только одна она да ее матушка помнили об этом таком уже далеком сейчас событии, тем паче что почти никого из тех, кто был тогда его свидетелем, не осталось в живых. Разве что какой старик конюший шепнет к концу обеда своему соседу, такому же старцу:

– А помните, мессир, ведь мы с вами были здесь, когда мадам Жанна взошла на черную повозку... и вот смотрите – вернулась сюда вдовствующей королевой...

И тут же оба забудут это мимолетное воспоминание.

Все мы, грешные, одинаково заблуждаемся, считая, что наша персона интересуется кого-то так же живо, как нас самих, – а ведь люди, если, конечно, у них нет на то каких-то особых причин помнить, слишком быстро забывают то, что случается с нами; и если даже не совсем забывают, то не приписывают этому той важности, какую, по нашему мнению, следовало бы приписывать.

Будь эта встреча где-нибудь в другом месте, а не в Мобюиссоне, Маго, возможно, была бы более податлива на предложения Филиппа VI. Что ж, монарх желает сам вершить суд, хочет примирить враждующие стороны. Но коль скоро все это происходило в Мобюиссоне, где с новой силой вспыхнула в ней былая ненависть, Маго не была склонна идти на мировую. Ничего, она еще добьется, что Робера засудят за подлог, она докажет, что он клятвопреступник, – вот о чем она думала во время королевской трапезы.

Но так как здесь не следовало слишком распускать язык, она искала утешения в еде, жадно заглатывала все, что подносили ей слуги, и осушала одним духом каждый налитый ей кубок вина. Лицо ее покраснелось, равно от злобы, как и от выпитого. А тут еще король советует ей так за здорово живешь отдать Роберу графство Артуа, за что тот обязуется выплачивать ей, тетке, ежегодно сорок тысяч ливров.

– Мне не так-то легко удалось добиться согласия вашего племянника, – добавил Филипп.

А Маго тем временем обдумывала слова короля: «Если Робер предлагает мне эту сделку через шурина, значит сам он не слишком-то уверен в своих правах и предпочитает лучше выплачивать по сорок тысяч ливров в год, чем предъявить суду свои фальшивые бумажонки!»

– Я не согласна, государь, кузен мой, – отрезала она, – это же чистый грабеж, а раз Артуа принадлежит мне по праву, ваш суд будет на моей стороне.

Чуть скривив на сторону свой мясистый нос, Филипп задумчиво разглядывал Маго. Заупрямилась, не желает ничего слушать, то ли от гордыни, то ли боится, что, ежели пойдет на



мировую, выдвинутые против нее обвинения подтвердятся... Тогда Филипп предложил иное решение: Маго сохраняет свое графство, все свои титулы и права, звание пэра до конца дней своих, зато назначит в присутствии короля своего племянника Робера наследником графства Артуа, и акт этот будет скреплен пэрами Франции. Честно говоря, нет никаких оснований отказываться от мировой: единственного ее сына до времени призвал к себе Господь; дочь ее, присутствующая здесь, получила наследство после своего покойного мужа-короля, а внучки все уже выданы замуж – одна за герцога Бургундского, другая за графа Фландрского, третья за графа Вьеннского. Чего же еще может пожелать человек? А графство Артуа пускай перейдет к его законному владельцу.

– Ибо, если бы брат ваш, Филипп, не скончался раньше вашего батюшки, ведь не будете же вы отрицать, дражайшая кузина, что ныне графством Артуа владел бы ваш племянник? Таким образом, честь вас обоих будет спасена, и мы справедливо решим ваши споры.

Не разжимая стиснутых челюстей, Маго отрицательно покачала головой.

Тогда Филипп VI нахмурился и приказал подававшим на стол слугам поторопиться. Коль скоро Маго так уперлась, коль скоро она оскорбила короля, отвергнув его суд, будет ей тяжба, будет!..

– Я не предлагаю вам, дражайшая кузина, остаться в замке на ночь, – сказал он, обмыв после трапезы руки, – не думаю, что пребывание при моем дворе было бы вам так уж приятно! Это была немилость, явная немилость!

Прежде чем отправиться восвояси, Маго заглянула в часовню аббатства – пролить слезу над могилой своей дочери Бланки. В своем завещании Маго распорядилась, чтобы и ее тоже похоронили здесь<sup>15</sup>.

– Ох этот Мобюиссон, – прошипела она, – вот уж и впрямь пагубное для нас место. Только на то и годится, чтобы спать здесь вечным сном.

Весь обратный путь она не переставала кипеть от злобы:

– Нет, вы только послушайте этого дурака-верзилу, которого злая судьба подсунула нам в короли! Отказаться от Артуа просто так, чтобы доставить ему удовольствие! Назначить своим наследником эту вонючую сволочь Робера! Да у меня пальцы раньше отсохнут, чем я подпишу такое завещание! Видать, они, мошенники, долго сговаривались, лишь бы меня получше облапошить, верно говорят: рука руку моет... И подумать только, если бы я сама в свое время не расчистила дорогу к трону...

– Матушка... – шепнула ей Жанна Вдова.

Если бы Жанна осмелилась выразить вслух свою мысль, если бы она не боялась грубого окрика, она посоветовала бы матери согласиться на предложение короля. Впрочем, вряд ли ее слова возымели бы хоть какое-нибудь действие.

– Ни в жизнь, – твердила Маго, – ни в жизнь они этого от меня не добьются.

Сама того не подозревая, она этими словами подписала свой смертный приговор, и палач сидел перед ней в тех же носилках и поглядывал на нее сквозь черные, скромно опущенные ресницы.

– Беатриса, – вдруг сказала Маго, – расшнуруй-ка меня немного, что-то у меня живот пучит.

Гнев дурно подействовал на пищеварение. Пришлось остановить носилки, чтобы мадам Маго могла облегчиться на первой же лужайке.

– Нынче вечером, мадам, – проговорила Беатриса, – я дам вам айвовую настойку.

---

<sup>15</sup> В своем завещании Маго распорядилась, чтобы и ее тоже похоронили здесь. – Напоминаем, что после двенадцатилетнего заключения в Шато-Гайаре Бланка Бургундская была переведена в замок Курне близ Кутанса и приняла наконец постриг в аббатстве Мобюиссон, где и умерла в 1326 г. Маго, ее матери, тоже предстояло упокоиться в Мобюиссоне; ее останки лишь впоследствии были перенесены в Сен-Дени. Там и поныне находится ее надгробная статуя, единственная, насколько нам известно, из черного мрамора.

Когда к ночи прибыли в Париж в отель на улице Моконсей, Маго, хоть ее и мутило немного, чувствовала себя получше. И после скромного ужина она улеглась в постель.

## Глава IX Плата за злодеяния

Беатриса дожидалась, когда все слуги отправятся спать. Тогда, подойдя к ложу Маго, она приподняла расшитый полог, который обычно опускали на ночь. Ночник, прикрепленный на самом верху балдахина, разливал вокруг слабый синеватый свет. Беатриса, в одной ночной рубашке, протянула своей госпоже ложку:

– Мадам, вы забыли принять айвовую настойку...

Маго, уже сморенная дремотой и усталостью, но еще не окончательно отдышавшаяся от злости, пробормотала:

– Ах да, хорошо, что ты вспомнила, – ты у меня славная девушка.

И она проглотила ложку настойки.

Часа за два до рассвета она перебудила всех своих людей, неистово дергая сонетку и криками сзывая их к себе. Сбежавшиеся на ее зов увидели возле постели Беатрисы с тазиком в руках и Маго, корчащуюся от тошноты.

Были немедленно вызваны ее придворные лекари Тома ле Миезье и Гийом дю Вена; первым делом они расспросили во всех подробностях, что графиня ела накануне, каково было ее меню; оба пришли к единодушному заключению: причина болезни – сильное несварение желудка, осложненное приливом крови, вызванным, в свою очередь, волнением.

Послали за цирюльником Тома, который за свои обычные пятнадцать су отворил графине кровь, а мадам Меньер, травница с Малого моста, поставила ей клистир из лекарственных трав<sup>16</sup>.

Беатриса, сославшись на то, что забежит к мэтру Палену, бакалейщику, и купит у него целебный электуарий, на самом деле проскользнула вечером под третьи ворота от дома Маго, чтобы встретиться в доме Бонфия с Робером.

– Готово! – объявила она.

– Умерла? – воскликнул Робер.

– Ну нет, она еще не скоро отмучается, – ответила Беатриса, и глаза ее блеснули черным огнем. – Но, ваша светлость, нам нужно быть сугубо осторожными, и видаться мы с вами будем теперь не так часто.

Маго медленно угасала в течение целого месяца.

Вечер за вечером, шепотка за шепоткой Беатриса сводила ее в могилу, и притом в полнейшей безнаказанности, ибо Маго доверяла лишь ей и только из ее рук принимала лекарства.

После трехдневной непрерывной рвоты у нее сделался катар горла и бронхов, так что даже проглотить каплю воды стоило ей нечеловеческих мучений. Лекари утверждали, что она схватила простуду во время несварения желудка. А потом, когда начал слабеть пульс, они решили, что таково следствие слишком частых кровопусканий; затем все тело ее покрылось чирьями и гнойниками.

А Беатриса, не отходявшая ни на шаг от ложа графини, внимательная, предупредительная Беатриса, всегда ровная, всегда с улыбкой на устах, что так ценно для больного, от души наслаждалась, следя за неумолимо быстрым ходом болезни, делом собственных своих рук. Теперь они почти совсем не виделись с Робером, но новая забота – каждый божий день изош-

---

<sup>16</sup> ...поставила ей клистир из лекарственных трав. – От Сретенья 1329 г. до 23 октября Маго, кажется, пребывает в отменном здравии и лишь очень редко обращается к своим обычным врачам. С 23 октября (дата ее встречи с Филиппом VI в Мобюиссоне) до 26 ноября, кануна ее смерти, можно почти день за днем проследить развитие ее болезни благодаря выплатам, которые ее казначей делал лекарям, костоправам, цирюльникам, травникам и бакалейщикам за их труды и товары.

ряться и придумывать, куда именно бросить, в еду или в лекарственные настойки, щепотку яда, – заменяла ей любовные утехы.

Но когда Маго увидела, что седые волосы лезут у нее целыми пучками, как пересохшее сено, она поняла, что настал конец.

– Меня опоили, – в смертном страхе сказала Маго своей придворной даме.

– О мадам, мадам, не вздумайте произносить таких слов. Ведь перед вашей болезнью вы обедали у самого короля.

– Это-то я и имею в виду, – вздохнула Маго.

Какой она была, такой же осталась – гневливой, вспыльчивой, на чем свет стоит ругала своих лекарей, в глаза обзывала их ослами. Даже сейчас она не пеклась о божественном и больше заботилась о делах своего графства, чем о грешной своей душе. Дочери она продиктовала следующее письмо:

*Ежели постигнет меня кончина, приказываю вам тотчас же отправиться к королю и требовать, чтобы отдал он вам графство Артуа, прежде чем Робер начнет свои козни...*

Даже жесточайшие боли не привели ей на память тех страданий, которые она некогда причиняла другим; до конца себялюбивая душа ее оставалась непреклонной, и даже близость смерти не высекла из нее искры раскаяния или хотя бы простого человеческого сочувствия.

Однако Маго считала, что должна покаяться в убийстве двух королей, в чем ни разу еще не призналась на исповеди своим домашним духовникам. И для этой цели она велела позвать к себе какого-то безвестного францисканского монаха. Когда монах с перекошенным лицом, бледный как полотно вышел из ее спальни, его тут же схватили два стражника, коим велено было отвезти его в замок Эсден. Но слов Маго не поняли или поняли плохо: она приказала держать монаха в Эсдене до самой своей смерти, а дворецкий, не расслышав, решил, что речь идет о его – монаха – смерти, и его бросили в каменный мешок. Таково было последнее преступление графини Маго, единственное невольное ее прегрешение.

Потом у больной начались чудовищные судороги, сначала в щиколотках, потом в икрах, и наконец свело руки. Смерть поднималась все выше.

27 ноября были отряжены гонцы – один в монастырь в Пуасси, где пребывала теперь вдовствующая королева Жанна, другой – в Брюгге, дабы предупредить графа Фландрского, и троих друг за другом в течение одного дня направили в Сен-Жермен, где пребывал ныне король в обществе Робера Артуа. Каждый гонец, отправлявшийся в Сен-Жермен, казался Беатрисе вестником ее любви к Роберу: графиню Маго соборовали, графиня лишилась речи, графиня вот-вот отдаст Богу душу...

Улучив минутку, когда они с графиней остались наедине, Беатриса склонилась над умирающей и, глядя на ее лысую голову, на ее лицо, покрытое гнойниками, где жили одни только глаза, проговорила почти нежно:

– А ведь вас отравили, мадам... я вас отравила... отравила из любви к его светлости Роберу...

Умирающая подняла на Беатрису взгляд, полный недоверия, тут же сменившегося яростной ненавистью, и хотя Маго уже покидала жизнь, последним желанием ее было убить. О нет, она не сожалела о совершенных ею злодеяниях – права она была, еще как права, что давала волю своей злобе, коли все люди вокруг исполнены злобы! И даже в последние минуты жизни мысль о том, что такова расплата за ее преступления, не коснулась ее сознания... Эта душа не нуждалась в искуплении.

Когда ее дочь прибыла из Пуасси, Маго, хотя члены уже не повиновались ей, с трудом вытянула негнувшийся, уже холодеющий палец и указала на Беатрису; губы ее шевельнулись, но ни звука не слетело с них, и в этом последнем порыве ненависти она отдала Богу душу.

На похоронах, которые состоялись 30 ноября в Мобюиссоне, Робер, ко всеобщему изумлению, стоял задумчивый и мрачный. А ведь куда больше пристало бы ему явиться сюда с побе-

длительной ухмылкой. Однако он ничуть не притворялся. Потеря врага, с которым ты борешься целых двадцать лет, оставляет после себя ничем не заполненную пустоту. Ненависть связывает людей такими прочными узами, что, когда порваны узы эти, на их место приходит печаль.

Покорная предсмертной воле матери, вдовствующая королева Жанна на следующий же день после похорон обратилась с просьбой к Филиппу VI оставить за ней графство Артуа. Прежде чем дать ей ответ, Филипп VI счел нужным с полной откровенностью объяснить с Робером:

– Пойми, я не могу ответить отказом на просьбу твоей кузины Жанны, коль скоро она прямая наследница, что подтверждается всеми бумагами и законом. Но я дам ей согласие только для виду, временное, так сказать, пока мы не уладим дело миром или не начнется тяжба... А тебя я попрошу написать мне, не откладывая ни на минуту, прошение, где ты изложишь свои требования.

Что Робер и не преминул сделать, вручив королю нижеследующее послание:

*Дражайший и грозный государь мой, коль скоро я, Робер Артуа, ваш смиренный граф Бомонский, уже долгие годы обойден наследством в обход всех прав законных и разума чрез многое лукавство, подлоги и хитрости и графство Артуа в моих руках не содержится, хотя принадлежит оное мне и должно оное принадлежать по многим справедливым и достоверным свидетельствам, кои стали мне известны, посему смиренно прошу вас, чтобы вы сообразовали выслушать меня и права мои подтвердить...*

Когда впервые после долгого перерыва Робер явился в дом Бонфия, Беатриса вздумала его угостить – как угощают лакомым блюдом – подробным рассказом, час за часом, о последних днях жизни Маго. Он слушал ее, но не выказал никакой радости.

– Похоже, что ты о ней жалеешь, – возмутилась Беатриса.

– Да ничуть, ничуть, – задумчиво протянул Робер, – она полностью за все заплатила...

Все его помыслы были заняты теперь новым препятствием, вставшим на его пути.

– Теперь я могу стать придворной дамой у тебя в отеле. Когда ты меня к себе возьмешь?

– Когда графство Артуа будет моим, – ответил Робер. – Сделай так, чтобы остаться при дочери Маго: теперь надо ее убрать с дороги...

Когда мадам Жанна Вдова, вновь вкусившая всю сладость почестей, которых она была лишена после смерти своего супруга Филиппа Длинного, и наконец-то, в тридцать семь лет, скинувшая с себя тягостные узы материнской мелочной опеки, с великой пышностью отправилась в Артуа, чтобы взять его под свою руку, то по дороге устроила привал в Руа-ан-Вермандуа. Здесь ей пришла охота выпить кубок кларета. Беатриса д'Ирсон бросилась к виночерпию Юппену, чтобы лично поторопить его. Но Юппен, уже целый месяц томившийся от любви к Беатрисе, не столь занимался прямыми своими обязанностями, сколь не спускал с Беатрисы глаз. Поэтому-то Беатриса сама отнесла Жанне кубок. А так как приходилось поторапливаться, она на сей раз отдала предпочтение не мышьяку, а ртутной соли.

На этом и закончилось путешествие мадам Жанны.

Те, что присутствовали при агонии королевы-вдовы, будут рассказывать потом, что боли схватили ее глубокой ночью, что яд сочился из ее глаз, изо рта и ноздрей и что все ее тело пошло черными и белыми пятнами. Она боролась с недугом всего два дня и скончалась, только на два месяца пережив мать.

Но тут герцогиня Бургундская, внучка Маго, заявила свои права на графство Артуа.

## Часть третья

### Одно падение за другим...

#### Глава I

#### Заговор призраков

Монах заявил, что зовут его Томас Динхед. Редкий венчик волос какого-то странного пивного цвета торчал над узким лбом, кисти рук он глубоко засунул в рукава. Его ряса, в какой ходят монахи-доминиканцы, давно утратила первоначальную белизну. Он недоверчиво оглядел комнату и трижды осведомился, нет ли здесь кого, кроме самого милорда, и не услышит ли кто их разговор.

– Да нет, мы одни, говорите же, – ответил граф Кент, глубже усаживаясь в кресле и нетерпеливо покачивая ногой.

– Милорд, наш добрый государь Эдуард Второй жив и здоровствует поныне.

Вопреки всем ожиданиям доминиканца Эдмунд Кент даже не вздрогнул, прежде всего потому, что был не из тех, кто при посторонних дает волю своим душевным движениям, а главное, потому, что эту невероятную новость он уже слышал с неделю назад от другого посланца.

– Короля Эдуарда держат как лицо секретное в замке Корф, – продолжал монах, – я его сам видел, в чем приношу вам свои заверения как свидетель.

Граф Кент поднялся, толкнул ногой лежавшую возле кресел борзую, подошел к окну, где в свинцовые ободья были вставлены маленькие квадратики стекол, и поглядел на серое небо, низко нависшее над его Кенсингтонским замком.

Кенту исполнилось двадцать девять, он уже был не тот хрупкий юноша, командовавший английским войском в 1324 году, во время злополучной войны в Гиени, когда ему пришлось сдаться в плен в осажденном Ла-Реоле собственному дядюшке Карлу Валуа, так как обещанные подкрепления не подошли вовремя. И хотя с тех пор Кент не то чтобы располнел, но как-то раздался, лицо его по-прежнему поражало своей бледностью, и прежней осталась чуть холодноватая манера, державшая людей на расстоянии, за которой скрывалась не столько глубокая мысль, сколько тяга к мечтательности.

Никогда он не слышал более удивительных вещей! Оказывается, его сводный брат Эдуард II, о кончине которого было сообщено еще три года назад, которого похоронили в Глостере – даже убийц его во всем королевстве называли теперь не таясь, – оказывается, он еще жив! Оказывается, заключение в замке Беркли, зверское убийство, письмо епископа Орлетона, преступление, совершенное совместно королевой Изабеллой, Мортимером и сенешалем Мальтраверсом, наконец, похороны, сварганенные наспех, – все это лишь пустые слухи, пущенные теми, кому на руку объявить бывшего короля Англии покойным, а затем уж расцвеченные народной фантазией.

Дважды за последние две недели ему сообщали эту новость. В первый раз он даже верить в это не пожелал. Но сейчас его взяло сомнение.

– Если эта весть верна, многое может измениться в нашем королевстве, – произнес он, не обращаясь прямо к монаху.

Ибо Англия за эти три года постепенно разуверилась в прежних своих надеждах. Где они – свобода, справедливость, благоденствие, которых почему-то ждали от королевы Изабеллы и достопочтенного лорда Мортимера? Ничего, кроме воспоминаний о разбитых мечтах и напрасных надеждах, не осталось от той прежней простодушной веры, от тех упований, которые возлагали на них.

Ради чего тогда изгнали, низложили, бросили в темницу, ради чего убили – так, по крайней мере, считал он до этого дня – слабого, бесхарактерного Эдуарда II, бывшего игрушкой в руках своих мерзких фаворитов, неужели только затем, чтобы возвести на престол несовершеннолетнего короля, еще более слабого, нежели отец, да к тому же не имеющего никакой власти, ибо у кормила ее стоит всемогущий любовник его матери?

Ради чего обезглавили графа Арундела, ради чего убили канцлера Бальдока, ради чего четвертовали Хьюга Диспенсера, ежели сейчас страной столь же самовластно правит Мортимер, с такой же ненасытной жадностью душит народ податями, оскорбляет, притесняет, запугивает, не допуская ни малейшего посягательства на свою власть?

Хьюг Диспенсер, хоть и был порочен и корыстолюбив от природы, имел все же слабости, на которых при случае можно было сыграть. Его можно было запугать или соблазнить крупной суммой. В то время как Роджер Мортимер – властитель несгибаемой воли и необузданных страстей. Французская волчица, как звали в народе королеву-мать, взяла себе в любовники волка.

Власть быстро развращает того, кто берет ее в свои руки ради самого себя, а не побуждаемый к тому заботой об общественном благе.

Беззаветно храбрый, чуть ли не герой, прославившийся своим беспримерным бегством из тюрьмы, Мортимер в годы изгнания как бы воплощал в себе лучшие чаяния несчастного народа. Люди помнили, что некогда он завоевал для английской короны государство Ирландское, люди забыли, что он изрядно нагрел при этом руки.

И впрямь, никогда Мортимер не думал ни о нации как о едином целом, ни о нуждах своего народа. Он не был рожден борцом за общественные интересы, если только они не совпадали в данную минуту с его личными интересами. В действительности же он был лишь выразителем недовольства известной части знатного дворянства. Получив власть, он вел себя так, словно Англия вся целиком, без изъятия, была его личным угодьем.

И для начала он прибрал к рукам чуть ли не четверть королевства вместе с титулом графа Валлийской марки, причем и титул, и само ленное владение были нарочно созданы для него. Благодаря королеве-матери он вел королевский образ жизни и обращался с юным Эдуардом III не как со своим сюзереном, а как со своим наследником.

Когда в октябре 1328 года Мортимер потребовал, чтобы парламент, собравшийся в Солсбери, возвел его в звание пэра, Генри Ланкастер Кривая Шея, старейшина королевской семьи, отказался присутствовать там. Тогда Мортимер, недолго думая, приказал ввести свои войска в полном боевом вооружении в коридоры парламента, подкрепив, так сказать, наглядно свое требование. Но такого рода насильственные деяния вряд ли пришлись членам парламента по вкусу.

Так что с фатальной неизбежностью те же самые лица, объединившиеся в свое время, дабы свалить Диспенсеров, вновь сплотились вокруг тех же принцев крови, вокруг Генри Кривая Шея, вокруг графов Норфолка и Кента – дядьев юного короля.

Через два месяца после истории в Солсбери Генри Кривая Шея, воспользовавшись отсутствием Мортимера и королевы Изабеллы, тайно собрал в Лондоне в соборе Святого Павла многих епископов и баронов с целью устроить военный переворот. Но у Мортимера повсюду были соглядатаи. Прежде чем восставшие успели поднять войска, Мортимер со своим собственным войском разорил города Лестерского графства, самого крупного ленного владения Ланкастеров. Генри хотел было продолжить борьбу, но Кент, считая, что с самого начала их преследуют неудачи, бесславно уклонился от дальнейшего участия в заговоре.

Если Ланкастер отделался за свой проступок лишь пеней в сумме одиннадцать тысяч ливров, которые, впрочем, так никогда и не были уплачены, то отделался лишь потому, что был первым в Регентском совете и опекуном короля, и, как это ни нелепо звучит, Мортимер должен был хотя бы для видимости поддерживать это опекунство, пусть даже фиктивное, чтобы, при-

крываясь им, на законном основании осудить мятеж против королевской власти своих противников, тех, к которым принадлежал и сам Ланкастер!

Поэтому-то Ланкастера отрядили во Францию под благовидным предлогом устроить брак сестры Эдуарда III со старшим сыном Филиппа VI. В сущности, это было своего рода немилостью, но с дальним расчетом – когда-то еще обе стороны придут к соглашению!

Коль скоро Кривая Шея был далеко, Кент вопреки собственной воле оказался главой заговорщиков. Все недовольные сгруппировались вокруг него, да и сам он старался изгладить из их памяти свое прошлогоднее отступничество. Нет, вовсе не из-за подлого страха он тогда устранился от открытого выступления...

Все эти смутные мысли одолевали его, пока он смотрел в окно своего Кенсингтонского замка. Монах по-прежнему стоял, как каменное изваяние, глубоко засунув руки в широкие рукава рясы. Именно то обстоятельство, что этот второй посол, равно как и первый, принадлежал к ордену доминиканцев, известному своей враждебностью к Мортимеру, и оба уверяли его в том, что Эдуард II здоровствует и поныне, заставило его призадуматься всерьез. Если только сообщенная ими весть достоверна, то все обвинения в цареубийстве, до сих пор висящие над Изабеллой и Мортимером, сами собой отпадают. И вместе с тем это круто изменит положение во всем государстве.

Ибо теперь народ оплакивал Эдуарда II, бросившись из одной крайности в другую, и чуть ли не готов был причислить беспутного короля к лику святых мучеников. Ежели Эдуард II здоровствует и поныне, парламенту легко будет снять с себя вину за былые свои деяния под тем предлогом, что они, мол, были навязаны ему силой, и возвести на престол бывшего государя.

Да и то сказать, кто может привести убедительные доказательства его кончины? Не жители ли Беркли, торжественно продефилировавшие тогда мимо его бранных останков? Но многие ли из них видели Эдуарда II при жизни? Кто осмелится утверждать, что им не подсунули какого-нибудь другого покойника?.. Никто из членов королевской фамилии не присутствовал на обставленном тайной погребении в Глостерском аббатстве, да к тому же состоялось оно через месяц после кончины Эдуарда и в могилу опустили гроб, покрытый черным сукном.

– Стало быть, вы утверждаете, брат Динхед, что вы действительно видели его собственными глазами? – обернулся стоявший у окна Кент.

Томас Динхед снова подозрительно оглядел комнату, как и положено хорошему заговорщику, и, понизив голос до полупшепота, ответил:

– Меня туда послал приор нашего ордена; мне удалось расположить к себе тамошнего капеллана, который и впустил меня в замок, при условии чтобы я скинул монашеское одеяние. Целый день я прятался в маленьком домике слева от кордегардии, вечером меня ввели в большую залу, и там я своими глазами увидел короля – он ужинал, и обслуживали его чисто по-королевски.

– Вы с ним заговорили?

– Мне не позволили к нему даже приблизиться, – ответил доминиканец, – но капеллан показал мне его из-за колонны и сказал: «Вот он».

После минутного раздумья Кент спросил:

– Если мне будет в вас нужда, могу ли я послать за вами в доминиканский монастырь?

– Нет-нет, милорд, ибо наш приор посоветовал мне на время монастырь покинуть.

И он сообщил Кенту свое теперешнее местопребывание в Лондоне, у некоего священнослужителя, близ церкви Святого Павла.

Кент открыл свой кошель, протянул монаху три золотые монеты. Монах отказался – им запрещено принимать любые дары.

– Тогда внесите деньги на нужды вашего ордена, – сказал граф Кент.

Тут только брат Динхед вытащил правую руку из рукава, взял деньги и, отвесив низкий поклон, удалился.

А Эдмунд Кент решил в тот же день известить двух старейших прелатов, в свое время причастных к неудавшемуся заговору: Грейвесана, епископа Лондонского, и архиепископа Йоркского Уильяма Мелтона, того самого, что совершал обряд бракосочетания Эдуарда III с Филиппой Геннегау.

*«Мне сообщили об этом дважды, и оба раза, по-моему, из вполне надежных источников...»* – писал он им.

Ответов пришлось ждать недолго. Грейвесан заверил, что будет поддерживать графа Кента во всех его действиях, кои тот сочтет нужным предпринять, а архиепископ Йоркский, примас Англии, прислал своего собственного капеллана Эллайна, и тот изустно передал, что примас посулил выделить пять сотен вооруженных людей, а в случае надобности и больше для освобождения бывшего короля.

Тогда Кент обратился и к другим знатым сеньорам, в частности к лорду Зоучу, а также лорду Бьюмонту и сэру Томасу Росслийну, укрывшимся в Париже, так как они имели все основания опасаться мести Мортимера. Вот так во Франции вновь образовалась английская эмигрантская партия.

Но особенно воодушевило заговорщиков личное и секретное послание папы Иоанна XXII, полученное графом Кентом. Святой отец, тоже прослышавший, что король Эдуард II по-прежнему здравствует, советовал графу Кенту ратовать за его освобождение, заранее отпуская все прегрешения тем, кто примет участие в этом деле, *«ab omni роена et culpa»*<sup>17</sup>. Можно ли было дать понять яснее, что все средства здесь хороши?.. И папа даже угрожал отлучить от церкви графа Кента, ежели он отступится перед столь богоугодным деянием.

И ведь это было не какое-нибудь изустное сообщение, а самое настоящее послание, написанное по-латыни: некий папский прелат – правда, подпись его была неразборчива – с превеликим тщанием записал собственные слова Иоанна XXII, произнесенные во время беседы, где обсуждался этот вопрос. Послание было доставлено одним из приближенных канцлера Бергерша, епископа Линкольнского, только что возвратившимся из Авиньона, где он тоже участвовал в переговорах о предполагаемом браке сестры Эдуарда III с наследником французского престола.

Все эти события окончательно смутили покой Эдмунда Кента, и он тут же решил проверить на месте все эти сведения, а заодно и поразведать получше, что и как можно сделать для освобождения короля из узилища.

Он приказал отыскать брата Динхеда по оставленному им адресу, а сам с небольшим, но надежным эскортом отправился в Дорсетшир. Дело было в феврале.

Прибыл граф Кент в Корф ненастным холодным днем, когда злой ветер порывами налетал на пустынный полуостров, и первым делом приказал привести к себе коменданта крепости сэра Джона Девирилла. Встреча состоялась в единственной харчевне Корфа, стоявшей как раз напротив церкви Святого Эдуарда Мученика, убиенного короля Саксонской династии.

Высокий, узкоплечий, с нахмуренным челом и презрительно выпяченной нижней губой, Джон Девирилл попросил прощения за то, что, увы, не может пропустить высокочтимого лорда в замок, и во всех его повадках чувствовалось сожаление, что ему приходится соблюдать вежливость, как полагается лицу официальному. На сей счет, добавил он, даны строжайшие указания.

– Жив, в конце концов, король Эдуард Второй или мертв? – спросил Эдмунд Кент.

– Этого я вам сказать не могу.

– Но ведь он же мой брат! Находится он у вас под стражей или нет?

– Меня не уполномочили отвечать на такие вопросы. Мне поручили держать в заключении узника, и я не имею права назвать вам ни его имени, ни ранга.

---

<sup>17</sup> «От всех грехов и вины» (лат.).



– Дайте тогда мне возможность хоть посмотреть на этого узника.

Джон Девирилл отрицательно покачал головой. Настоящая стена, утес какой-то, этот самый комендант, столь же непоколебимый, как огромная зловещая башня, окруженная тройным поясом широких стен, что торчит на самой вершине холма над маленьким городишком и над его крышами, сложенными из плоских каменных плит... О, Мортимер умело выбирал себе верных слуг!

Но существует особая манера отрицать факты так, словно бы подтверждаешь их. Разве напустил бы на себя этот самый Девирилл столько таинственности, был бы столь же непреклонен, если бы охранял кого-либо другого, а не бывшего короля Англии?

Эдмунд Кент пустил в ход все свое обаяние, которым его щедро наделила природа, впрочем, прибег он и к другим аргументам, против которых с трудом может устоять натура человеческая. Короче, он положил на стол кошель, туго набитый золотом.

– Мне хотелось бы, – сказал он, – чтобы узнику ни в чем не было отказа. Деньги эти помогут облегчить его участь, здесь сто фунтов стерлингов.

– Смею вас заверить, милорд, что его содержат в хороших условиях, – проговорил тоном соучастника Девирилл, понизив голос.

И без малейшего смущения схватил кошель.

– Я охотно дал бы вдвое больше, лишь бы на него взглянуть, – добавил Эдмунд Кент.

Девирилл сокрушенно покачал головой:

– Поймите меня, милорд, замок охраняют двести лучников...

Эдмунд Кент, имевший претензию считать себя крупным военным стратегом, отметил в уме эти весьма ценные сведения – их надо будет учесть, когда дело дойдет до похищения узника.

– ...и ежели хоть один из них проговорится и королева-мать об этом прознает, она тут же повелит меня казнить.

Вот уж подлинно выдал себя с головой, признался, кого поручено ему стеречь!

– Но я могу передать ему письмо, – продолжал комендант крепости, – потому что знать об этом будем только мы двое.

Радясь столь счастливому и быстрому повороту дела, Кент набросал следующие строки под завывание ветра, с силой швырявшего в окно харчевни струи дождя:

*Соблаговолите принять мою преданность и уважение, дражайший брат мой. Молю Бога всей душой своей о добром для вас здравии, ибо уже готовимся мы в скорейшем времени выволить вас из узилища, дабы были вы от всех ваших бед избавлены. Будьте благонадежны, на моей стороне самые знатные бароны Англии и все их достояние, сиречь их войска и их сокровища. Вновь вы станете королем; прелаты и бароны поклялись в том на Святом Евангелии.*

Он сложил листок пополам и протянул его коменданту.

– Прошу вас, милорд, запечатайте его своей печатью, – ответил тот, – я не должен, да и не хочу знать, что вы написали.

Кент приказал одному из сопровождающих его людей принести воск и приложил свою печать, а Девирилл спрятал листок под плащ.

– Послание, – сказал он, – будет доставлено заключенному, и надеюсь, он тут же его уничтожит. Так что...

Он неопределенно махнул рукой, как бы желая сказать, что все будет предано забвению, словно ничего этого и не было.

«Если умело взяться за дело, – думал Эдмунд Кент, – этот человек, когда придет решительный день, сам распахнет нам ворота, нам даже не придется обнажать оружие».

А три дня спустя письмо его уже было в руках Мортимера, который прочитал его членам Регентского совета, собравшимся в Вестминстере.

И сразу же королева Изабелла обратилась к юному королю с взволнованными словами:

– Сын мой, сын мой, молю вас, не милуйте вашего заклятого врага, который старается распространить по всему королевству нелепый слух, будто отец ваш здравствует и поныне, и все это с целью низложить вас и занять ваше место. Ради всего святого, пока еще не упущено время, отдайте приказ примерно покарать этого изменника.

На самом же деле приказ был уже отдан, и сбирь лорда Мортимера уже мчались к Уинчестеру, дабы перехватить графа Кента по дороге и бросить его в темницу. Но Мортимеру этого было мало, ему мало было взять врага под стражу, ему требовалась казнь, превращенная, так сказать, в назидательное зрелище. Впрочем, у него и впрямь были основания спешить.

Через год Эдуард III достигнет совершеннолетия, но уже и сейчас по многим признакам видно, что ему не терпится взять власть в свои руки. Устранив Кента и удалив перед тем из страны Ланкастера, Мортимер тем самым обезглавил оппозицию, а значит, никто не помешает ему и впредь направлять действия юного Эдуарда.

19 марта в Уинчестере собрался парламент, дабы судить родного дядю короля.

Месяц с лишним пробыл граф Кент в узилище и вышел оттуда совсем другим человеком – подавленным, исхудавшим, растерянным, словно бы так и не понявшим, что такое с ним случилось. Не того он был закала, чтобы мужественно переносить обрушившиеся на него беды. Даже его хваленое умение холодно держать людей на расстоянии и то покинуло его. На допросе, который учинил ему королевский коронер Роберт Хауэл, он сразу рухнул, рассказал от слова до слова все, что с ним произошло, назвал имена своих осведомителей и сообщников. Но каких, в сущности, осведомителей? Доминиканский орден знать не знал монаха по имени Динхед, – стало быть, все это выдумки обвиняемого, надеющегося уйти от правосудия. В равной мере выдумка и послание, якобы отправленное папой Иоанном XXII: никто из лиц, сопровождавших епископа Линкольнского, отряженного с посольством в Авиньон, ни разу ни с кем не вел бесед об усопшем государе – ни с самим папой, ни с кем-либо из его кардиналов или ближайших советников. Тут Эдмунд Кент уперся. Что же они, с ума его свести хотят, что ли? Да он сам лично говорил с этими монахами! Сам держал в руках папское письмо «*ab omni роена et culpa*»...

Только позже Кент понял, что его завлекли в ловушку, в страшную ловушку, поманив призраком покойного короля. Словом, комплот, от начала до конца состряпанный Мортимером и его приспешниками: лжепосланцы, лжемонахи, лжеписьмо, а главное, это лже-Девирилл из замка Корф, самый лживый из всех и вся! Так или иначе, его загнали в западню.

Королевский коронер потребовал для обвиняемого смертной казни.

Сидя на возвышении лицом к лицу с высокочтимыми лордами, Мортимер держал каждого под прицелом своих глаз, а Ланкастер, быть может единственный из всех, кто осмелился бы выступить в защиту подсудимого, был далеко за пределами страны. Мортимер дал понять всем сообщникам Кента, духовным или светским лицам, что, буде последний осужден, их преследовать не станут. А ведь большинство баронов в той или иной мере были причастны к заговору, и все они отреклись – и даже Норфолк, родной брат подсудимого, – от второго принца крови и отдали его в руки кровожадного графа Валлийской марки. В сущности, они принесли его в жертву во искупление собственных прегрешений.

И мало того что Кент был унижен перед всеми членами парламента, открыто признав свою вину, его решено было подвергнуть еще одному наказанию – лично изъявить свою покорность королю, в одной рубашке, босому и с вервием на шее, и высокочтимые лорды скрепя сердце вынесли тот приговор, которого от них ждали. А в надежде успокоить свою беспокойную совесть сосед шептал соседу:

– Король его помилует, король воспользуется своим правом миловать...

Никому не верилось, чтобы Эдуард III приказал казнить родного дядю, пусть тот и виноват, но ведь нельзя забывать, что действовал он скорее по недомыслию и что вся эта история с монахами и письмами явно шита белыми нитками.

Многие из тех, что проголосовали за смертный приговор, твердо решили завтра же идти к королю просить помилования осужденному.

Палата общин отказалась скрепить приговор, вынесенный палатой лордов: она требовала дополнительного расследования.

Но Мортимер, заручившись поддержкой палаты лордов, бросился в замок к королеве Изабелле, которую и застал за трапезой.

– Дело сделано, – объявил он, – мы можем теперь послать Эдмунда на плаху. Но большинство наших лжедрузей надеются, что ваш сын спасет его от смертной казни. Посему молю вас действовать без промедления.

Первым делом они поспешили услатить юного короля на целый день в Уинчестерский колледж, один из самых старых и самых прославленных во всей Англии колледжей, где был устроен торжественный диспут.

– А губернатор Лондона, – добавил Мортимер, – незамедлительно выполнит, душенька моя, ваш приказ, как если бы он исходил от самого короля.

Изабелла и Мортимер обменялись долгим взглядом, и оба тут же забыли и о готовящемся преступлении, и о незаконном превышении власти. Французская волчица подписала приказ немедленно обезглавить своего деверя и двоюродного брата.

Эдмунда Кента снова вывели из узилища и в одной рубашке, со связанными за спиной руками привели под немногочисленным конвоем лучников во внутренний двор крепостного замка. Здесь он простоял час, два часа, три часа под морозящим дождем при тусклом свете клонящегося к закату дня. Почему они медлят, почему сразу не посылают на плаху? То он впал в уныние, то поддавался безумным надеждам. Конечно же, король, родной его племянник, как раз в эту минуту скрепляет печатью приказ о помиловании. А это трагическое ожидание просто еще одна кара, наложенная на осужденного, дабы побудить его к чистосердечному раскаянию и полнее оценить великодушие и милосердие. А быть может, начались мятежи и смуты, быть может, восстал народ. А быть может, убили Мортимера. Кент возносил мольбу небесам и вдруг, охваченный тоскливым страхом, разразился рыданиями. Он дрожал всем телом в промокшей насквозь рубашке; с плахи и со шлемов лучников стекали струйки дождя. Когда, когда же наконец кончится эта пытка?

Единственно правильное объяснение этого бессмысленного стояния у плахи не могло прийти в голову графу Кенту, а дело было в том, что по всему Уинчестеру искали палача и не могли найти. Городской палач, прослышав, что палата общин не признает вынесенного лордами приговора, что сам король приговора не подписал, уперся и не пожелал показать своего искусства на принце королевской крови. Его подручные поддержали его: уж лучше совсем лишиться работы...

Обратились к гарнизонным командирам, чтобы они выделили кого-нибудь из своих людей, если, конечно, какой-нибудь доброволец за солидное вознаграждение не вызовется сам. Командиры в ответ брезгливо морщились. Они согласны были поддерживать в городе порядок, охраняя здание парламента, даже препровождать заключенного к месту казни, но, бога ради, не требуйте большего ни от них самих, ни от их солдат.

Мортимер в приступе холодного и жестокого гнева набросился на губернатора:

– Неужели во всех ваших темницах не найдется какого-нибудь убийцы, фальшивомонетчика или разбойника с большой дороги, который захотел бы в обмен на эту услугу сохранить свою жизнь? А ну поторопитесь-ка, если вам не улыбается окончить самому свои дни в темнице!

Обшарили все лондонские тюрьмы и наконец нашли нужного человека: им оказался вор, обокравший церковь и приговоренный к повешению на следующей неделе. Ему сунули в руки топор, но он потребовал себе еще и маску.

Спускалась ночь. При свете факелов, шипевших и гаснувших под проливным дождем, граф Кент увидел, как к нему приближается заплочных дел мастер, и понял, что долгие эти часы надежды были лишь последней смехотворной иллюзией. Он испустил отчаянный крик – пришлось силой поставить его на колени перед плахой. Случайный палач дрожал всем телом, так же как и его жертва, страшая того, что его ждало, тем паче что оказался он человеком скорее трусливым, чем жестоким. Он с трудом поднял топор. Первый удар пришелся мимо, железо лишь скользнуло по волосам Кента. Четырежды палач опускал топор, под конец он уже бил по какой-то отвратительной кровавой жиже. Стоявших вокруг старых лучников рвало от отвращения.

Так умер, не дожив до тридцати лет, граф Эдмунд Кент, принц крови, человек обаятельный и наивный. А того, кто украл золотую дарохранильницу, с богом отпустили домой.

Когда юный король Эдуард III вернулся в Лондон, прослушав бесконечный диспут на латинском языке о доктринах мэтра Оккама, он узнал, что его дядю обезглавили.

– Как, без моего приказа? – спросил он.

Он велел призвать к себе лорда Монтегю, который после присяги в Амьене не расставался с королем и в преданности которого Эдуард имел немало случаев убедиться.

– Лорд Монтегю, – обратился к нему король, – вы были сегодня на заседании парламента. Так вот, мне хотелось бы знать всю правду...

## **Глава II**

### **Ноттингемская секира**

Государственное преступление всегда и во всех случаях должно иметь видимость законности.

Источником закона является государь, а суверенная власть принадлежит народу, осуществляющему ее через посредство избранных представителей, или же он признает ее за монархом по праву наследования, а иной раз, как то было в те времена в Англии, через оба эти канала.

Таким образом, всякий законный акт в этой стране должен был получить как бы двойное одобрение – монарха и народа, будь то одобрение молчаливым или выраженным вслух.

Казнь графа Кента имела всю видимость законности, коль скоро Регентский совет осуществлял королевские полномочия, а из-за отсутствия графа Ланкастера, королевского опекуна, подпись под смертным приговором поставила королева-мать, но казнь эта не получила ни подлинного одобрения парламента, ибо действовал он под явным нажимом Мортимера, ни согласия короля, которого держали в неведении, хотя приказ был дан от его имени, а подобное деяние может быть для тех, кто свершил его, лишь гибельным.

Эдуард III выразил свое неодобрение случившемуся в той мере, в какой мог его выразить, – потребовал, чтобы его дядю Кента похоронили как особу царствующего дома. Так как речь шла о бездыханном трупе, Мортимер решил не перечить юному королю. Но никогда Эдуард не простит Мортимеру то, что он снова за его спиной посягнул на жизнь особы королевской крови; не простит он ему также и того, что, когда при мадам Филиппе неосторожно сообщили о казни дяди Кента, она потеряла сознание. А ведь молодая королева была в тягости, уже на шестом месяце, и ее полагалось всячески щадить. Эдуард обратился по этому поводу с упреками к своей матери, и, когда та с раздражением заметила, что мадам Филиппа что-то уж слишком чувствительна к врагам короны и что если ей выпало счастье стать королевой, то не мешало бы быть потверже духом, сын ответил:

– Не у всякой женщины, мадам, как у вас, вместо сердца камень...

Впрочем, этот случай прошел благополучно для чрева мадам Филиппы, и в середине июня она произвела на свет сына<sup>18</sup>. Эдуард III испытывал спокойную, но глубокую радость, как и всякий мужчина, когда женщина, которую он любит и которая любит его, дарит ему первенца. Он даже как-то сразу повзрослел и почувствовал себя настоящим правителем. Теперь у него есть наследник. Он подолгу раздумывал о династии, о своем собственном месте меж предками и будущими потомками, пусть потомство это пока хрупко и уязвимо, но оно уже существует вот здесь, в этой пышно украшенной кружевами колыбели, и час от часу для Эдуарда все невыносимее становилось положение, в котором его до сих пор держат, положение ущемленного в своих законных правах государя.

Иной раз его мучили сомнения: ну хорошо, пусть даже разгонят тех, кто правит страной сейчас, но это ровно ничего не изменит, коль скоро не так-то легко найти вместо них более достойных людей, коль скоро нечего противопоставить существующим уложениям.

«Сумею ли я править так, как надо? – вопрошал он себя. – И подготовлен ли я к управлению страной?»

Из памяти его еще не изгладился низкий пример отца, попавшего целиком под власть Диспенсеров, и столь же низкий пример матери, находившейся в полном подчинении у Роджера Мортимера.

Вынужденная бездеятельность давала богатый досуг для наблюдений и размышлений. Ничего нельзя добиться в английском государстве без добровольного или вынужденного согласия парламента. Влияние, которое приобрела за последние годы эта консультативная ассамблея, собиравшаяся все чаще и чаще по любому поводу и в любых местах, было следствием того, что управление страной шло из рук вон плохо: военные походы оканчивались неудачами из-за бесталанных командиров; в королевской фамилии царил раздор, вечная вражда шла между центральной властью и союзом крупнейших феодалов.

Следует пресечь эти разорительные разъезды, когда палата лордов и палата общин мчатся то в Уинчестер, то в Солсбери, то в Йорк и заседают там, и делается все это с единственной целью – чтобы лорд Мортимер мог лишний раз дать почувствовать собравшимся, что страной правит он, и правит твердой рукой.

«Когда я по-настоящему стану королем, парламент будет заседать только в строго определенные дни и по возможности только в Лондоне... А войско?... Сейчас войско даже нельзя считать королевским: это войско баронов, а те хотят – повинуются верховной власти, хотят – не повинуются. Необходимо иметь наемное войско, и войско это будет служить королевству, и командовать им будут военачальники, назначенные королем... Ну а правосудие? Правосудие должно быть сосредоточено в королевских руках, и король обязан сделать так, чтобы все были перед этим правосудием равны. Что бы там ни говорили, а во Французском королевстве больше порядка. Необходимо также предоставить полную свободу торговле, ведь все время поступают жалобы, что развивается она недостаточно быстро из-за непомерно высоких обложений и запрета на кожи и шерсть – наше исконное богатство».

На первый взгляд могло показаться, что мысли не бог весть какие глубокие, но не забудем, что теснились эти чуть ли не революционные идеи в голове юного короля в годину безначалия, произвола и жестокости, какие редко выпадали на долю какой-либо нации.

Так юный владыка, связанный по рукам и ногам, жил теми же чаяниями, что и его угнетенный народ. Лишь узкому кругу людей открывал он свои заветные мысли: своей супруге Филиппе, Вильгельму де Мауни, конюшему, которого Филиппа привезла с собой из Геннегау,

---

<sup>18</sup> ...в середине июня она произвела на свет сына. – Первый из двенадцати детей Эдуарда III и Филиппы Геннегау – Эдуард Вудстокский, принц Уэльский, которого прозвали Черным принцем из-за цвета его доспехов. Это ему предстояло одержать победу при Пуатье над сыном Филиппа VI Валуа Иоанном II Добрым и взять его в плен. Большую часть своей жизни этот крупный полководец провел на континенте, был одним из главных персонажей Столетней войны и умер через год после своего отца, в 1376 г.

но особенно часто беседовал он с лордом Монтегю, и тот сообщал Эдуарду о том, чего ждут и на что надеются молодые лорды.

Нередко двадцатилетний юноша создает себе кодекс правил, которому неукоснительно будет стремиться следовать всю свою дальнейшую жизнь. Эдуард III обладал важнейшим достоинством, необходимым для человека, облеченного властью: он не был игрушкой страстей и пороков. Ему посчастливилось вступить в брак с принцессой, которую он полюбил и в силу все той же удачи продолжал любить. Кроме того, был он наделен той высшей формой гордости, что позволяет человеку считать свое высокое положение более чем естественным. Он требовал уважения к своей особе и к своему рангу; он презирал угодливость, ибо она исключает возможность искренних отношений. Он ненавидел бессмысленную роскошь, ибо она оскорбительна для нищеты и противоречит подлинному величию.

Те, кто в свое время побывал при французском дворе, уверяли, будто Эдуард III весьма похож на своего деда Филиппа Красивого; между ними находили даже внешнее сходство – тот же овал и та же бледность лица, тот же холодный взгляд голубых глаз из-под длинных ресниц, впрочем чаще всего опущенных.

Конечно, Эдуард был гораздо более общительного и более пылкого нрава, чем его дед с материнской стороны. Но ведь утверждавшие это знали Железного короля лишь в последние годы его жизни, в самом конце его долгого правления, и никто не помнил, каким был Филипп Красивый в свои двадцать лет. Кровь Франции восторжествовала в Эдуарде III над английской кровью Плантагенетов, и казалось, на престол Англии взошел настоящий Капетинг.

В октябре того же 1330 года, на сей раз в Ноттингеме, на севере страны, был снова созван парламент. Заседание обещало быть бурным: большинство лордов держало зло против Мортимера за казнь графа Кента, ибо казнь эта отягощала их совесть.

Граф Ланкастер Кривая Шея, которого нынче уже звали старым Ланкастером, ибо ему каким-то чудом удалось сохранить до пятидесяти лет голову на плечах, крупную, клонящуюся набок голову, мудрый и отважный Ланкастер наконец вернулся из Франции. Уже давно ему угрожала болезнь глаз, ныне превратившая его в полуслепца, так что повсюду его сопровождал паж, но само это убожество, делавшее его как бы более уязвимым, привело к тому, что к его словам прислушивались с еще большим уважением.

Палата общин была встревожена слухом о новых субсидиях, которые им предстояло утвердить, и новых налогах на шерсть. А куда, в сущности, идут деньги?

На что, на какие такие нужды потратил Мортимер тридцать тысяч ливров уплаченной шотландцами дани? Ради личной своей выгоды или же ради выгоды государства три года вел он жестокую войну с Шотландией? И почему он осыпал милостями этого ничтожного барона Мальтраверса, произвел его в сенешали да еще пожаловал ему тысячу ливров за добрую службу при покойном короле, сиречь за его убийство? Ибо все становится явным, пусть не сразу, но все равно становится, и не могут оставаться на веки вечные тайной расходы казначейства. Вот, стало быть, на что пошли налоги! И Огл, и Герни, подручные Мальтраверса, и Девирилл, комендант Корфа, получили каждый по изрядному куску.

Поезд Мортимера, направлявшегося в Ноттингем, блистал такой роскошью, что юный король казался при нем лишь одним из его свитских, но теперь Мортимера на самом деле поддерживала всего какая-нибудь сотня сторонников, из тех, что были обязаны ему своим благосостоянием и находились у власти, пока у власти стоял он, а в случае, если он падет, их ждала кого немилость, кого изгнание, а кого и просто виселица.

А сам он считал, что держит всех и вся в своих руках, ибо целая сеть соглядатаев, из коих при самом короле состоял некий Джон Виньярд, передавали ему все услышанные речи, они уверяли, что заговором пока и не пахнет. Он считал себя всемогущим, ибо его лучники сумели запугать и палату лордов, и палату общин. Но войско может повиноваться и другим приказам, а соглядатаи могут предать.

Власть, не опирающаяся на согласие тех, на кого она простирается, – обыкновенный обман, и не может он длиться долго, такая власть находится в неустойчивом положении между страхом и мятежом и в мгновение ока перестает быть властью, когда достаточное количество людей приходит совместно к одним и тем же мыслям.

Сидя в седле, расшитом золотом и серебром, окруженный оруженосцами, облаченными в пурпур и держащими в руках пики с развевающимся на конце флажком, скакал Мортимер по изрытой колеями дороге.

Уже в пути Эдуард III заметил, что у его матери непривычно болезненный вид, что лицо ее осунулось и поблекло, глаза смотрят устало и померк их блеск. Она ехала в носилках, а не скакала, как обычно, на своем белоснежном иноходце; от мерного покачивания носилок ее мутило, так что то и дело приходилось останавливаться. Мортимер держался с ней внимательно, но явно был смущен.

Возможно, Эдуард и не обратил бы на все это внимания, если бы ему самому не довелось наблюдать точно такие же признаки у своей супруги, мадам Филиппы, в начале года. К тому же во время дороги челядь распустила языки: прислужницы королевы-матери болтали с прислужницами мадам Филиппы. В Йорке сделали привал на два дня, и тут последние сомнения Эдуарда рассеялись – его мать в тягости.

К горлу его подступил ком стыда и омерзения. А также и ревность, ревность уже взрослого сына еще усугубила это недоброе чувство. И постепенно померк благородный, прекрасный образ матери, какой жил в его душе с первых дней детства.

«Из-за нее я возненавидел родного отца, потому что он покрыл ее позором. А теперь она сама меня позорит! Мать, сорокалетняя женщина, родит незаконного ребенка, который будет моложе собственного моего сына!»

Как король он чувствовал себя униженным в глазах своего королевства, а как муж – в глазах своей супруги.

В опочивальне Йоркского замка он без сна ворочался под одеялом и наконец рассказал обо всем Филиппе.

– Помнишь, душенька, как мы с тобой стали мужем и женой, как раз здесь... Ах, печальное царствование я тебе уготовил!

Кроткая и разумная Филиппа выслушала новость довольно равнодушно, но, будучи от природы добродетельной, осудила свекровь.

– Такие вещи, – сказала она, – при французском дворе не случаются...

– Ох, душенька... А вечные измены ваших дражайших кузин Бургундских?.. А ваши отравленные короли?

Почему-то Капетинги стали теперь родичами одной лишь Филиппы, будто сам Эдуард не был их прямым потомком!

– Во Франции все происходит галантно, – возразила Филиппа, – там не столь откровенно выставляют напоказ свои желания, не столь жестоки в своей злобе.

– Просто все делается более скрытно, втайне. Там предпочитают железу яд...

– Нет, вы, вы гораздо грубее...

Эдуард промолчал. Испугавшись, что он оскорблен ее словами, Филиппа протянула к нему свою округлую нежную ручку.

– Я очень, очень тебя люблю, друг мой... – сказала она, – потому что ты ничем на них не похож...

– И это не только позор, – твердил свое Эдуард, – но и угроза...

– Какая угроза?

– А такая, что Мортимер вполне способен нас всех загубить, вступить в брак с моей матерью, чтобы его признали регентом и чтобы посадить на трон своего ублюдка...

– Даже думать об этом – безумие! – возмутилась Филиппа.

Несомненно, такое полное ниспровержение основ и отрицание всех принципов, и религиозных и династических, было бы, конечно, невероятным, если бы страной правила твердая рука, но все возможно, даже самые безумные авантюры, в королевстве, раздираемом на части и отданном на милость враждующим партиям.

– Завтра же откроюсь во всем Монтегю, – промолвил юный король.

По прибытии в Ноттингем настроение лорда Мортимера заметно ухудшилось, он нетерпеливо обрывал людей, говорил не только властным, но и раздражительным тоном; а объяснялось это тем, что его соглядатай Джон Виньярд приметил, как к концу пути король, Монтегю и кое-кто из молодых лордов то и дело вступали в оживленные беседы, но о чем беседуют, разобрать ему не удалось.

Мортимер накинулся на сэра Эдуарда Боухена, вице-губернатора, которому было поручено разместить высоких гостей, что он и сделал, поселив по традиции всю знать в одном замке.

– По какому праву, – кричал Мортимер, – вы посмели, не доложившись мне, распорядиться самовольно покоем, примыкающими к апартаментам королевы-матери?!

– Я думал, милорд, что граф Ланкастер...

– Графа Ланкастера, как, впрочем, и всех остальных, вы обязаны были разместить по меньшей мере за целую милю от замка.

– А вас, милорд?

Мортимер сердито нахмурил брови, почуяв в этом вопросе прямое оскорбление.

– Мои апартаменты должны находиться вблизи от апартаментов королевы-матери, и прикажите коменданту каждый вечер вручать ей ключи от замка.

Эдуард Боухен молча склонился в поклоне.

Бывает иногда, что меры предосторожности оборачиваются роковым образом против того, кто их принял. Мортимер хотел пресечь разговоры о положении Изабеллы; главное же, он хотел отдалить короля от других, но именно это развязало руки молодым лордам, которые вдали от замка и соглядатаев Мортимера могли свободно собраться и наметить план действий.

Лорд Монтегю решил объединить тех своих друзей, что были, по его мнению, наиболее решительными, – главным образом молодых, от двадцати до тридцати лет: лордов Моулинса, Хаффорда, Стаффорда, Клинтона, а также Джона Невила Хорнеби и четырех братьев Боухен – Эдуарда, Хамфри, Уильяма и Джона, бывшего графом Херефорда и Эссекса. Молодые образовали партию короля. Генри Ланкастер дал им свое благословение, и даже больше чем просто благословение.

А тем временем Мортимер, собрав в замке своих приближенных – канцлера Бергерша, Симона Берифорда, Джона Монмута, Джона Виньярда, Хьюга Тарплингтона и Мальтраверса, – обсуждал с ними, как и какими средствами пресечь новый заговор.

Епископ Бергерш уже почуял, откуда дует ветер, и не столь ревностно служил своему господину: с высоты своего священнослужительского сана он призывал к соглашению. В свое время он столь же удачно сумел переметнуться из партии Диспенсера в партию Мортимера.

– Довольно арестов, судов и крови, – увещевал он. – Быть может, посулив кому деньги, кому земельные угодья, кому почести...

Мортимер взглядом прервал поток епископского красноречия, а взгляд Мортимера из-под ровной линии век, из-под нависших тяжелых бровей до сих пор легко вгонял человека в трепет – епископ Линкольнский замолк.

А в этот же самый час лорду Монтегю удалось побеседовать с глазу на глаз с Эдуардом III.

– Молю вас, высокородный государь мой, – начал лорд, – молю вас не сносить долее дерзости и интриги человека, по приказу коего убили вашего отца, казнили вашего дядю и который развратил вашу матушку. Мы поклялись пролить до последней капли всю свою кровь, дабы выволить вас. Мы готовы ко всему, но надо действовать не мешкая, а для этого мы должны, и в немалом числе, проникнуть внутрь замка, где никому из нас не отведены покои.



Юный король задумался.

– Вот теперь, Уильям, – сказал он, – я точно знаю, что крепко люблю вас.

Он не сказал «знаю, что вы крепко любите меня». Слова эти выразили всю суть истинно королевской души: он, Эдуард, не сомневался, что ему служат верно, главное для него было сознательно отдать человеку свое доверие и свою привязанность.

– Так вот, – продолжал он, – адресуйтесь к констеблю, коменданту замка сэру Уильяму Иленду, от моего имени и просите его повиноваться вам во всем, чего бы вы от него ни потребовали, и скажите, что таков приказ короля.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.